

I

Неожиданно и ниоткуда, как и все замыслы, пришла мысль: написать о дорогах. И сразу же померещилась книга: зеленая, цвета пыльной травы, с размашистой, как бы взлетающей надписью: «Дороги». Видение это мелькнуло, пропало, потом вновь вернулось; и стало казаться, что там, внутри призрачной книги, уже есть некий текст. Так на еще непроявленной фотопленке живут чьи-то лица, смеются и плачут, задумчиво смотрят куда-то — но до поры, до таинственных омовений и пассивов, совершаемых в красном сумраке фотолаборатории, эти лица пока никому не видны.

Вот и книга «Дороги» как будто уже существует. И сейчас, начиная работу, я себя чувствую то ли фотографом, проявляющим пленку, то ли, вернее сказать, переводчиком с языка, разобрать и расслышать который могу я один. Какие-то грезы и странная музыка — вроде тихого блюза — вот из чего состоит тот невнятный язык. И мне бы теперь наиграть, повторить этот блюз, записать его ноты — на серой бумаге...

Дороги — крепежные нити, которые держат пространство: от предмета к предмету, от одного человека к другому протянуты нити дорог. Наш мир непрерывно стремится рассыпаться в хаос; сеть дорог — и великих, и малых — как арматура, скрепляет его. Как бы мы жили и что бы мы делали без дорог? К счастью, они нас не оставляют. Даже запертый в четырех стенах — большой палаты, тюремной ли камеры — человек продолжает свой путь. Заснуть и проснуться — уже означает свершить путешествие, побывать в неизведанных странах, далеких мирах.

А движение времени, это тиканье-цоканье неких незримых подков, этот бег запыленных коней, проносащих нас из одной тьмы в другую — да так быстро, что мы даже не успеваем оглядеться как следует по сторонам? Кому-то тот путь выпадает обидно коротким, кому-то достанутся Мафусаиловы долгие годы; но, рано ли, поздно ль — падут запаленные кони... И что нам останется, кроме смертной усталости от пройденных нами дорог? Что ж мы, напрасно брели, спотыкались, блуждали, и капли тяжелого пота напрасно пятнали дорожную пыль?

Родов своих я, конечно, не помню. Но первой из пройденных мною дорог был именно родовой путь.

Мы все постарались забыть о том испытании, что нам выпало в самом начале. Но память о нем все же где-то живет: в ночных ли кошмарах, в неясном томленье души — или, может быть, эта память всплывет лишь в предсмертных томительных снах?

Наша жизнь перепахана до глубины плугами родовой изначальной работы. Откуда б мы знали тоску, боль и страх — когда б не родились

сквозь них, вместе с ними? Я даже думаю: люди, явившиеся на свет путем кесарева сечения, должны быть беззаботнее, легче, счастливее в жизни, чем те, кому в самом начале досталось пройти родовые пути.

Впрочем, куда-то шагать мы не раз порывались еще до того, как родились. Упрямо толкаясь ногами в упругую тьму, окружавшую нас, мы искали дорогу. Но зачем? Разве плохо нам было дремать в том тепле, где один только шум материнской заботливой крови подталкивал, мерно качал тишину? Отчего мы пытались проникнуть в пространства иные?

И вдруг напряглись, отвердели границы недавнего рая. Снаружи нас грубо сжимало, вдвигало в невысказанно-тесный проход — изнутри же росла, становясь бесконечной, тоска! Даже боль еще можно б терпеть; но вот эта тоска, эта мука удушья и страх нарастали с безжалостной силой...

Уже много после я снова встретился с чем-то подобным: когда увлекся подводной охотой. Омут на Рессе имел метров пять глубины. Оглохший и сумрачный мир окружал меня там: коряги, мохнатые космы над илистым дном, остатки бревенчатой мельничной кладки. И вот, надтерпев до последней возможности в поисках рыбы, я толкался от дна и сквозь облако мути спешил вверх, к свету. Шум и звон раздавался в ушах; сердце бешено билось: ему не хватало воздуха. И отголосок какой-то давнишней тоски пронзал сердце! В эти четыре мучительно-долгих секунды я как бы вновь проходил родовые пути. Пускай не с такой жуткой силой, но тиски глубины обжимали голову. С каждой секундой — долей секунды! — таял круг жизни. Время чудовищно ускорялось — стрелки незримых часов вращались с гудением, как самолетный пропеллер! — казалось, секунда с собой уносила не менее года...

Но тут искаженное мукой лицо разбивало мерцавшую пленку — и я жадно глотал воздух, свет, жизнь!

Мой первый осознанный путь совпадает с первым воспоминанием.

Место действия — Средний Урал, военный городок под Нижним Тагилом. Зима. Мне два года. И вот первое, что я помню, — то, как отец несет меня на плечах вдоль забора. Зеленые доски — отчетливо вижу! — мелькают по правую сторону. Было, наверное, холодно, но запомнился не мороз, а ватный, приглушенный сумрак. Доски забора мелькали, и было так странно смотреть через них — на сугробы, что были на той стороне. Это было безмерно печально; хотелось заплакать...

Я тогда пережил глубочайший и, может быть, главный свой опыт. Я почувствовал безграничность, огромность лежащей вовне меня жизни — и необходимость мириться с границами, с формами, с теми условиями, в которые я почему-то поставлен. Именно это бессознательно-смутное ощущение и вызывало нестерпимую грусть. Глядя на мир через доски забора, я и тосковал по свободе, и напрягался в желании выдержать плен бытия — и вместе с тем верил, что ограда бессильна сдерживать, ограничить то главное, что живет в глубине моего существа.

Мелькание оборвалось, и надвинулась, словно глотая меня, большая веранда огромного дома. То, что было в яслях, помню плохо. Смутно видятся ряды желтых кроваток, прутья которых напоминают забор: в одну из них поместили меня. И я опять отделен от чего-то неясного, очень нужного мне — но лежащего там, по ту сторону...

Первый путь на отцовских плечах вдоль забора оставил такую зарубку в душе, что доселе с особенным чувством я прохожу вдоль мелькающих прутьев ограды. Это приносит не только печаль, но и чувство покоя: кажется, если целая половина мира как бы отсечена — то и ноша твоя облегчается вдвое.

Идешь, например, мимо парка: солнце пульсирует в майской, еще желтоватой листве — а тень от чугунной решетки ложится так четко, что даже боишься споткнуться о тени от прутьев. Если смотреть на саму ограду, поочередно натакиваясь глазами на каждый чугунный прогонистый стебель — и замечать то густые потеки недавно положенной краски,

то паутину, то капли росы — будешь видеть одну ограду, а весь мир за ней расплывется в смутные пятна. Но если смотреть туда, вдаль — на стены собора, ржавчину лиственниц, стайку детей, пробежавшую возле качелей, — то будет виден лишь этот солнечный мир, а ограда вдруг как бы исчезнет! Будет лишь что-то подрагивать перед глазами, но эта дрожь помешает не больше, чем перемаргиванье ресниц. И так ты поймешь, что любая ограда есть только условность капризной игры бытия...

Сумрачен мир моих первых уральских воспоминаний. Угол комнаты, полуоткрытая дверь, человек за стеклом на балконе — ветер трогает его легкие волосы; еще помню бульдозер, щетину тайги, уходящую до горизоннта. Но все это было беззвучным и бледным: для меня еще словно жалели и света, и звука.

Но вдруг словно щелкнул переключатель: все залил свет! Я стою на обочине — а дорога, лежащая передо мной, будто плавится от чего-то горячего. И это не просто обильный, сияющий солнечный свет — но поток того счастья, которым наполнен весь мир. Все, что вижу — кусты, бурьяны, серебристо-зеленый раakitник и низкое небо, и два ослепительных солнца, что вспыхивают на коромысле тети Клавы, соседки — все настолько прекрасно и ярко, что даже становится страшно: а вдруг все исчезнет?

Это было на Курщине, в селе Выгорное. Тогда, в шестьдесят шестом, меня оставили на попечение бабушки Марьи Денисовны. И звуки, и краски того первого в памяти лета как и остались главными впечатлениями жизни. Земля, небо, солнце, деревья и птицы, коровы и куры, огромные белые гуси: все я помню, все знаю — оттуда. То, что увидел потом, приходилось уже сравнивать с тем, изначальным — и мало что могло выдержать это сравнение. И ветер, степной, горьковатый, и небо, которое в тех местах как-то ниже и шире, чем в средней России — все до сих пор представляется идеальным, каким и должно оно быть.

Вот и дорога — та, первая, проходившая возле дома и называвшаяся, по-местному, «нижний плант», — осталась единственной, главной дорогой. Лето случилось сухое: рубцы от колес, отпечатки подошв и коровьих копыт, казалось, навеки остались на каменно-твердой дороге. На обочинах зеленела курчавая травка-«гусятник». Гусиный помет известковыми жирными запятыми белел в траве. Дорога местами делилась на несколько русел, а затем вновь сходилась в пару глубоких следов. В серой дорожной пыли купались блаженно стонавшие куры. Стоило замахнуться, как пыльный взрыв подбрасывал их — и куры, квохча, приседая, бежали в кусты.

А вон стадо белых гусей вразвалку бредет по обочине. Их длинные шеи стекают к земле, морковные яркие клювы с тугим хрустом рвут траву. Тяжелые птицы порой привстают, раскрывая громадные крылья, и хлопают ими — горячая пыль, жаркий ветер летит над дорогой...

Колеи были так широки, что я с трудом перепрыгивал их. На дне собиралась глубокая пыль. Приседая на корточки, я любил погружать в нее руки. С упоением роясь в пыли — такой бархатисто-прохладной, почти невесомой — я извлекал из нее то ржавый гвоздь или камень, то обрывок ремня или щепку, то зеленое доньшко от разбитой бутылки, — и разглядывал сквозь него позеленевшее небо — то находил ослепительно черный кусок антрацита, то серую кость, то подметку. Вот уж воистину: я рылся в прахе, прикасался к тому, чем становятся все, кто идет по дороге. И даже тот мальчик, тот ангел неполных трех лет — он когда-нибудь станет дорожною пылью, и другие ладони рассеянно будут ласкать его невесомое тело...

Тем же летом я совершил первое путешествие. Началось оно в сенях дома: гладкий и твердый, волнистый земляной пол был уже как бы дорогой. На деревянной скамье стояли зеленые ведра. Ближайшее было

закрыто фанеркой. На ней отпечатались несколько мокрых колец от жестяной перевернутой кружки. Сдвинув крышку, я ухитрился достать до воды. До сих пор помню, какой ледяной становилась жуть кружки, как в ней колыхалась вода — и там, где она проливалась, пол становился скользким. Отпив два холодных глотка, я ставил кружку на лавку и перешагивал через порог.

Щурясь от яркого солнца, слезал со ступенек крыльца. Дорога была совсем рядом, шагах в десяти: она, как река, текла мимо дома, и хотелось скорее ступить в этот пыльный поток. Едва вставал на нее — всю в рубцах от колес, в желтых нитях горящей на солнце соломы, — как могучая сила подхватывала тебя...

Пробежав метров сто, уставал. Слева стеною росли бурьяны — лебеда, чернобыльник, крапива, — справа полого спускались к реке огороды. Потягивал ветер: шары серебристых ракиг словно катились, искрясь, по-над речкой. Дорога вела вдаль и вдаль, и, похоже, не собиралась кончаться. Это тебя озадачило. Еще немного, и дом скрылся бы за поворотом; но к расставанию с ним ты еще был не готов.

Тогда ты сворачивал на тропинку, идущую вниз, по меже огородов. Метелки травы щекотали колени; кузнечики прыскали из-под ног. Огромные желтые тыквы светились в траве.

Приближался Нинкин колодец: из него пили жители всех ближайших домов. Другие колодцы — Попов, Елисеев — были попросту копанками, то есть ямками в торфе, и из них брали воду лишь для полива; Нинкин же имел сруб из бревен, и тропа к нему была самой торной.

Тропинка окружала колодец кольцом вытоптанной земли. Осторожно, касаясь ладонями бревен, ты перегибался за сруб и заглядывал вниз. Голова чуть кружилась, и все зыбко двигалось перед глазами: зеленые обомшелые бревна, лодочки ивовых листьев, чутко скользившие по воде, отраженье твоей головы — и, самое главное, облака, что белели внизу, на мерцающей синеве... Вот это действительно было открытием: там, в глубине, ты видел — небо! Жаль, что потом, повзрослев, ты почти позабыл о внезапно открывшейся тайне: о высоте глубины — или, лучше сказать, глубине высоты?

По сухой, шелестящей меже бежал на чад, к дому. Издалека видел скат крыши, крыльцо под навесом, косые кованые пруты, подпиравшие этот навес, видел завалинку, в облупившейся глине которой белели там-сям клетки драмки. На скамеечке перед завалинкой часто сиживал прадед Денис Максимович. Ему тогда было под девяносто. Помню сухого, прямо сидящего старика с небольшою седою бородкой: темные руки сложены на костыле, а взгляд отрешенно плывет над дорогой. Я подходил к нему осторожно, почти как недавно к колодцу, чувствуя жутковатую тайну. Сам запах, что веял от прадеда — запах холодного дыма и меда — был дыханием вечности...

Очнувшись, старик поворачивал голову и говорил: «А, котурка! Ну посиди, посиди с дедом...» Его холодная колыхавшаяся рука касалась моей головы, а в глазах, водянисто-пустых, но глубоких, как небо в колодце, оживало подобие интереса. Так порыв ветра, сдувая с кострища золу, оживляет последние угли; наверное, маленький правнук был для старика чем-то вроде нежданного ветерка. Он-то уже отшагал по своим дорогам, он теперь тихо сидел у обочины, тихо ждал — а мальчик, перенимавший его эстафету, едва отражался в слезящихся бледных глазах.

Сидеть рядом с ним было зябко, тревожно. Прадед был словно колодец, пробитый во времени — его вековой почти возраст сливался с вечностью, но ведь и ты для него, уходящего в тьму, тоже был окликом вечности...

Посидев с прадедом, я решил спрятаться в палисаднике, в гуще сирени. Было интересно узнать: что случится, когда я исчезну из мира? Похоже, все детские игры в прятки имеют в основе это переживание:

пекочущий ужас исчезновения — а затем вдруг острейшая радость в момент, когда тебя, наконец, отыскали.

Меня же, и долго, никто не искал. Обидно: мир не заметил пропажи. Куры квохтали в пыли; за рекой урчал трактор; теленок взмывал на низах огородов; тень облака проскользила по косогору на том берегу... И вокруг меня, в пыльной, горячей чашобе сирени тоже что-то вздыхало, шуршало и ползало, тени двигались по земле, по куриным истоптанным лункам — но это происходило само по себе, без меня. Оказалось, что мир равнодушен: ему все равно, кто идет по его бесконечным дорогам — ты, или кто-то другой, или просто летит по ним облако пыли...

К счастью, в доме уже начинался переполох. Бабушка громко окликнула прадеда. Тот неразборчиво что-то ответил. Потом я увидел, как бабушка, торопясь, прошла в сторону Титчевых, наших соседей. «Нет, не видела», — донесся ответ тети Клавы. Бабушка, уже очевидно встревожась, опять торопливо и грузно прошла совсем рядом со мною. «Ох-ма-а... Да куда же он делся?» — запыхавшись, бормотала она. Потом она долго, из-под руки, смотрела на нижние огороды. Вдруг вскрикнула: «Господи, Нинкин колодец!» — и тяжело побежала туда, где я был недавно.

Теперь я боялся покинуть укрытие. Еще сильнее сжавшись, зажмурил глаза — но и сквозь красный бархат зажмуренных век я словно видел, как мечется бабушка, как прадед, разыскивая меня, двигает старые ульи в сарае, и слышал тревожные женские выкрики от соседних домов.

Но и все-таки я был счастлив! Мир не забыл про меня, всполошился, когда я исчез — значит, он был ко мне не равнодушен. И на меня снизошла небывалая, мягкая дрема покоя: я неожиданно, крепко заснул. Не помню, как и кто меня обнаружил. Осталась лишь смутная память о том, как чьи-то руки подняли меня, понесли — и как я поплыл через двор, переполненный чувством любви, благодарности к этим рукам...

Вечерами ходили «под стадо»: встречать коров с выпаса собиралось почти полдеревни. Дети и женщины принаряжались. Бабушка Марья Денисовна надевала черный мужской пиджак: он шел к ее крупной и гордой фигуре.

Бабушка была редкой женщиной. Учительница, в одиночку и в лихолетье вырастившая троих дочерей все стали врачами, — она была авторитетнейшим человеком не только в Выгорном, но даже и в Тиме, районном поселке, расположенном неподалеку. Слова: «Я учился у Марьи Денисовны», — долгие годы были в тех местах как бы особой рекомендацией, порою едва ли не лучшим, что человек мог сказать о себе.

Вечерний же выход «под стадо» был, пожалуй, единственным развлечением, которое бабушка себе позволяла. Своей коровы она уже не держала — ходила же так, по многолетней крестьянской привычке.

Солнце, краснея, спускалось к земле. Мошकारа, словно дым, повисала столбами на фоне закатного неба. Дорога была еще теплой — а воздух над нею пустел, холодел. Люди, неспешно перекликаясь, шагали по тропкам, идущим вдоль нижнего планта. Дорога, уставшая за день, теперь отдыхала. Тебя-то, конечно, тянуло ступить в глубокие мягкие колеи, но бабушка дергала за руку: не пыли!

Через семь дворов от нашего дома был проулок: таинственный длинный тоннель из сомкнувшихся старых акаций. Здесь мы и поджидали коров.

О приближавшемся стаде давал знать отрывистый выстрел кнута. К проулку с дальней его стороны подплывало огромное облако звуков. Мычали коровы; земля содрогалась от топота, дробы копыт. Удары хвостов по раздутым бокам, визгливый крик пастуха и стрельба ременного кнута членили на такты поток нераздельно-густой, шевелящейся музыки. Джаз коровьего стада был настолько могуч, что, казалось, сама густота этих звуков, их плазменный, жаркий избыток может что-то родить из себя — то ли мальчика, то ли теленка, то ли, быть может, кого-то еще...

Шумно вздыхавший, мыгчащий поток двигался по проулку. Люди нетерпеливо проталкивались между коровами. «Зорька! Милка!» — слышались нежно-призывные крики. Поток людей и животных, наконец, выливался на простор нижнего планта. Мы с бабушкой шли за короной тети Клавы. Под пегим худым кострецом качалось огромное, все в надувшихся венах, молочное вымя. Так грубо толкали и мяли его костлявые задние ноги, что было страшно: вдруг оно лопнет? Но вымя, как мягкая чаша, торжественно плыло над пылью дороги.

Плыл и ты, убаюканный общим движеньем. Ты чувствовал, как таинственно связано все: коровы и люди, и пыльная эта дорога, и красное солнце, лежавшее на черте горизонта, и родная, шершавая, теплая бабушкина рука...

А потом меня увезли. Отец нашел место для двух врачей-психиатров в старинном калужском селе Ахлебинино. Они с мамой пожили там несколько месяцев, обустроились — и бабушка Марья Павловна, мама отца, повезла меня к ним.

Это была настоящая пересадка; я перебалывал после нее, как молодое деревце, перенесенное из родного питомника в чужое и непривычное место. Корни моей души неожиданно были оборваны — и другая земля, скудный калужский суглинок, еще долго-долго не могла стать мне родной. Многие месяцы, даже годы, мне не хватало простора и воздуха, ветра и света, не хватало дыхания степи и воли.

Помню, как сели с бабушкой в самолет, и как она непрерывно что-то рассказывала, успокаивая меня. Бабушка, очень полная, очень добрая женщина с морщинистым круглым лицом, любила меня безгранично, вся таяла от любви — и меня это, помню, тогда раздражало. Я словно боялся, что бабушкина любовь может расплавить меня самого — как огонь растопляет свечу.

В самолете было пока интересно. Ряд круглых окошек, заклепки на вогнутом желтом борту, заревевший мотор и вибрация пола — все это, столь непривычное, привлекало меня. «Хочешь быть летчиком?» — крикнула бабушка сквозь рев мотора. «Хочу!» — закричал я в ответ, припадая к иллюминатору. Земля там, снаружи, дернулась и побежала. Гул и вибрация все нарастали. Сухая трава хрящеватого летного поля быстро выскальзывала из-под крыла.

И вдруг земля ухнула вниз! В этот миг оборвалось и что-то в душе. Сердце замерло, на полувдохе перехватило дыханье. Из груди как бы вынули что-то — и я, опустевший, безудержно падал, пока мы взлетали...

Расставшись с землей и родиной, я впервые почувствовал, как одинок. С бесовским гуденьем и дрожью пустота неба всасывала меня. С какой-то прощальной тоской посмотрел я в окно, на одиноко висящее шасси — и его, колеса, одиночество стало вдруг так понятно...

Кончилось все, разумеется, рвотой. До сих пор тяжело вспоминать тот ворсистый зеленый бумажный пакетик — один его вид уже вызывал тошноту.

Но, в конце концов, мы долетели. Встречал нас отец. Надо было тащиться через широкое летное поле. Бабушка несла меня, бледного, чуть живого; отец набрал сумок в обе руки — и никак не мог ухватить зеленый ночной горшок. Разозлившись, в сердцах пнул его — и горшок закрутился, мелькая белым нутром. С истомою, через плечо шагающей бабушки, я смотрел, как горшок остается лежать на траве — как все дальше и дальше уносят меня из младенчества...

В Ахлебинино мы приехали в сумерках. Холодно встретил меня новый дом. Даже радость от встречи с мамой не утешала. Зашел, помню, в темную комнату — узлы и коробки навалены были в углу — и заплакал от небывалой, сдавившей мне сердце печали.

Оживило меня и утешило — чудо. Уж не помню, отец или мама — а, может, они это сделали вместе, — принесли небольшую коробку с круглым

глазком. Чем-то щелкнули, и глазок засветился. На голую стену лег яркий круг света. Затем светлый круг превратился в квадрат с буквами. Буквы сдвинулись — вместо них появилась картинка: человек с лукавым лицом лихо взмахивал полотенцем.

— Храбрый портняжка! — прочитал отец название сказки.

Мало сказать, что я был удивлен и обрадован этой картинкой, да и всеми другими картинками, составлявшими ту веселую сказку. Мне прокрутили все раз, и другой; потом показали еще одну сказку, «Карлик-нос» — она понравилась меньше, потому что была пострашнее, — но в меня тогда вошло ощущение чуда, которое живо и до сих пор. Мне, потерявшему только что родину, грубо оторванному от любимой земли, показали вдруг как бы еще одну родину, еще один мир, где хотелось бы жить. И когда, спустя много лет, я услышал от одного мудреца, что культура есть родина человека — я принял его слова, как бесспорную и давно мне знакомую истину. Ведь еще в детстве, оттаяв в волшебном свечении сказки, я понял: куда бы отныне меня ни забросила жизнь, я уже никогда не останусь один, не погибну без помощи и опоры.

Ахлебинино, где мы поселились, было большим селом на Оке, стоявшим при старой дороге на Тулу. Хорошо помню остатки запустевшего тульского тракта: в крутой подъем, среди сосен, взбиралась мощеная камнем дорога.

Наш дом был одноэтажным, на восемь квартир. Крылечками он выходил в старый липовый парк; психиатрическая больница, где работали отец с матерью, была совсем рядом, шагах в тридцати, за могучим дубовым забором.

Жизнь восьми молодых врачебных семей в том длинном одноэтажном доме была созвучна времени. Шли как раз шестидесятые годы; счастливый, ребячливо-радостный дух витал здесь, над склоном лесистого берега и над полянами, где регулярно устраивались «шашлыки» — те, входившие в моду, общие выпивки на природе, в которых дух времени отразился полнее всего.

К шашлыкам готовились основательно. В Калугу, лежавшую в тридцати километрах вверх по Оке, отряжались посыльные для закупки мяса. Вином же и водкой в доставке снабжал ахлебининский магазин. Накануне женщины собирались у кого-нибудь на квартире, садились вокруг эмалированного ведра и, уже разогретые предощущением праздника, нарезали лук, мясо, и заливали смесь уксусом или вином.

На другой день целое шествие протягивалось по дороге, спускавшейся через лес к Оке. Мужчины несли дырявый лист жести и звякавшие рюкзаки. На палке раскачивалось ведро с мясом, распространявшее резкий уксусный запах. Женщины, одетые, по тогдашней молодежно-спортивной моде, в облегающие трико и яркие кофточки, несли сумки с провизией и одеяла. Мы, дети, носились взад и вперед, то обгоняя процессию, то отставая. Шашлычное шествие двигалось весело, шумно. Казалось, сам воздух пьянил молодых докторов. И общим для всех было чувство, что, как ни хорошо, как ни весело здесь и сейчас — дальше-то, без сомнения, будет еще веселее и лучше!

Спускались из леса в речную долину. Ока свинцово поблескивала вдали. Речные чайки, крича, то падали к самой воде, то взмывали так круто, как будто вода обжигала им лапки. Большая река слишком неласкова — поэтому для костра выбиралась обычно поляна близ маленькой речки Ужерди. Разведение костра, нарезание шампуров из гибких лозин и оснащение этих прутьев кусками сочного мяса и кольцами лука — все было до крайности интересно, и во всем мы, дети, принимали участие. Рюкзаки, одеяла и ведра, пакеты с едой были пестро разбросаны по траве. Ждать шашлыков еще было долго; после краткого совещанья решали: пора закусить. «Дети голодные...» — как бы оправдывались молодые мамыши. «Да, конечно, дети голодны!» — потирая ладони, весело соглашались отцы.

Отбежав в сторонку, я смотрел на таких молодых и веселых родителей, на их молодых и веселых друзей, на то, как они наливают вино из зеленых бутылок и как с каждым поднятием кружек становятся все веселее. Моя мама была, без сомнения, самой красивой. Она говорила немного, зато много делала: что-то передавала, раскладывала, нарезала. Она не могла и минуты остаться без дела, занимавшего руки и душу. Тревога за сына, за мужа, за то, чтоб все было, как следует — не подгорело бы мясо или, скажем, не хлынул бы дождь — огромная, незатухающая тревога за всех и за все тлела в карих ее, беспокойных глазах.

А отец был, конечно же, самым умным. Захмелев, он начинал говорить медленно, очень весомо, с печальной поволокой в глазах смотреть вдаль, за реку — как бы рассматривая то, что дано разглядеть лишь ему одному.

И какие же были они молодые! Как далеко тот пикник у обочины, тот хмельной и веселый привал, который поколение шестидесятников устроило на своем беззаботном, наивном пути. «Светлый путь» — вот чем была их тогдашняя жизнь; светлый путь вел их в светлое «завтра»...

И вот странно: отбежавший в сторонку четырехлетний малыш уже тогда смутно чувствовал, что ему с ними не по пути. Говорил ли в нем голос иного, потерянного в неразберихе эпох поколения — или звучало неистребимое личное одиночество? Но помню, как с завистью и с каким-то глубинным упреком (упреком — кому? и за что?) смотрел я на то развеселое сборище, на пляски и прыганье через костер, и слушал песню о белых медведях, трущихся о земную какую-то ось.

И большая река, что текла там, за пойменным лугом — она как бы тоже с неодобреньем взирала на невинную оргию шестидесятников. В реке содержалась иная, суровая правда: в мочуем и медленном, тусклом движении вод словно звучал приговор той ребячливой легкомысленной суете, что затеяло у костра поколение наших родителей...

II

Переселения нашей семьи продолжались. Из Ахлебинино мы переехали ближе к Калуге, в пригородную деревню Бушмановка. Здесь мы живем уже тридцать лет.

Таких деревень больше нет в целом свете. Тут расположена крупная психбольница: Бушмановка стоит как бы на водоразделе между безумием и нормальной жизнью. В обе пропасти — в быт или в бред — отсюда, чем называется, рукою подать.

Редко где чувствуешь столь домовитый и прочный уклад, как у здешних хозяев — и мало где собрано столько безумных, мятущихся душ, как за серыми стенами здешней больницы. Над Бушмановкой дует незримый сквозняк, здесь кипит неумная плазма безумия. Может быть, потому так прочны на деревне дома и ухожены огороды — что иначе не выжить, не выстоять на пугающих этих ветрах? Больные кричат и трясут кулаками — они, словно ветхозаветные старцы-пророки, хотя потрясти и разрушить привычный всем мир, но на деревне упорно стучат молотки, визжат пилы, не затихает ремонт бытия — и мир, как ни странно, пока что стоит, и жизнь, как ни странно, пока продолжается.

До сих пор не сказать, кто же мы: город или деревня? До недавнего времени нас считали деревней Турынинского сельсовета, Ферзиковского района. Теперь же нас приписали к Калуге, и мы горожане. Но крик петухов или бляенье коз нам привычнее шума моторов. В зной на асфальтовых улицах сушится сено; майская пена цветущих садов заливает дома.

А с другой стороны: до центра Калуги отсюда пешком минут тридцать. В тихие ночи слышны переговоры диспетчеров на железнодорожном вокзале. «Маневровый — на третий путь!» — кричат они где-то вдали. Или: «Машинист Петраков, срочно зайдите к диспетчеру!» И в ночи раздается далекий, томительный гул и сдвоенный перестук набирающих ход поездов...

Когда мы приехали на Бушмановку — я был отдан в детсад. Меня привели туда мурым утром. Пахло, помнится, хлоркой и рисовой кашей. Дети отчего-то сидели в темной комнате; воспитательница повернула меня лицом к темноте и сказала: «Вот, дети, наш новый мальчик Андрюша. Не обижайте его». И я сразу понял: здесь будет плохо.

Действительно, в садике было несладко. Не то чтобы меня донимали, дразнили — все это было во вполне допустимых пределах. Но невидимый дым — чад тоски, несвободы — словно висел во всех комнатах детского сада. Я остро переживал ненормальность, насильственность своего пребывания здесь. Ведь «сад» — это то, что посажено, сделано некою чуждою волей, а не выросло само по себе. Сад, детский сад, посадить, посадили — «Садитесь, пожалуйста!» — «Нет уж, спасибо, свое отсидел!» — все мучилось на какой-то занозе, которую кто-то воткнул в мякоть жизни. Я-то хотел настоящего сада, с деревьями, птицами и цветами — а меня заперли под присмотром чужой толстой тетки в несвежем халате, окружили толпою гадающих назойливых сверстников и превратили всю жизнь в ожидание: когда же придет, заберет меня мама?

Но не об этом хотел я сейчас рассказать — а о том, как впервые шагал я в колонне. Нас, детей, выстроив парами, повели на прививку в медпункт. Был весенний сияющий день — снег, грязь и лужи горели под мартовским солнцем, а наша колонна брела вдоль разрезженной грязной дороги. Деревня Бушмановка была по-весеннему шумной: звенела, сверкая, капель, собаки сходили с ума за заборами, гулили над лужами голуби, хрипло горланили петухи — мы были огушены изобилием солнца и звуков.

Странно было идти внутри тесной колонны. Понемногу я терял ощущение себя самого. Эти близкие спины и лица, между которыми я, растерявшись, шагал, — качаясь и двигаясь, как жернова, они словно перетирали мое одиночество. Когда, например, те, кто шли впереди, начинали перепрыгивать ручеек — казалось, что это я сам, мое многоногое тело перебрасывает через промоину одно свое сочленение за другим. Меня больше не было — был слитный поток, любая частица которого ничего не значила сама по себе, но зато сама была этим потоком, несла в себе его силу. Я умирал — но я в то же время и обретал незнакомые ранее свойства. Кажется, если б я шел один, я бы так не запомнил тот день, его запахи, звуки, и яркие вспышки капли, и сочную рыжую грязь под ногами — мне б не хватило ни зренья, ни слуха, чтоб воспринять разноцветье и разноголосье весны. Но теперь я владел как бы множеством глаз, и слух мой был многократно усилен.

Неведомо-тайные силы вливались в меня; восторг причащения коллективу наполнял мою детскую душу. Поздней, уже взрослым, я не раз повторял этот опыт шаганья в колонне. И все было так же: отдельное «я» умирало — могучие силы текли сквозь меня, искажая пространство и время, меняя порядок и лик бытия...

Шагали мы, кажется, целую вечность. Но вот изголовье колонны — то есть как бы я сам — взошло на крыльцо медпункта. В амбулатории пахло лекарствами, свежей побелкой, топившейся печью. Стеклянные шкафчики с разными в них пузыречками вызывали благоговейное любопытство и страх. Но боялся я не прививки, а только того, что своим поведением вызову общее неодобрение или насмешку. Страх оплошать перед лицом коллектива был сильнее всего.

Вот краснощекая пухлая «фершалка» быстро протерла мне спину холодной мокрою ватой — запахло спиртом — напрягшись, я ощутил под лопаткою, слева, несильный укол, и тут же почувствовал гордость оттого, что сдержался, не вскрикнул. А «фершалка» уже ухватила другого притихшего мальчика.

На обратном пути воспитательницы уже не с таким рвением поддерживали порядок — может быть, чувствуя, что теперь мы привиты, мы

стали другими, не теми дичками, что недавно шагали в медпункт. Нас пронзили незримыми стрелами коллективной любви — и мы перешли под начало иного «садовника», совсем не того, кто выращивал нас изначально...

Детство всегда неизбежно-трагично — его трагедии вечны, как сказано кем-то, — и в этих трагедиях путь нашей жизни завязан или запутан в какие-то словно узлы. Всю жизнь потом пробуешь их развязать; точнее сказать: на попытки распутать эти узлы и уходит вся жизнь.

Когда моя память скользит по незримо натянутым нитям, все глубже и глубже в далекие детские годы — она утыкается в те болевые, саднящие точки. Вот помню тихий семейный вечер. Я сидел на диване с детской книжкой в руках. Отец читал; мама, кажется, шила. И я неожиданно закапризничал: то ли хотел, чтобы мне почитали, то ли, как это часто бывает с детьми, хотел обратить на себя внимание. Захныкав, я бросил на пол свою яркую книжечку: она заехала под шкаф. «Папа, достань, подними!» — заканючил я, требуя, чтобы именно он, прервав чтение, достал книжку. «Юра, ну что же ты? Подними...», — с укоризной сказала мама. Отец, пожимая плечами — видимо, сдерживая раздражение, — встал, нагнулся, пошарил рукою под шкафом и вытащил книжку.

И вот тут я совершил диковатый, но, в сущности, объяснимый поступок. Радостный оттого, что мою просьбу исполнили, и желая продлить, закрепить эту радость — я снова швырнул книжку на пол. Отец разозлился. Лицо его окаменело; он быстро нагнулся, схватил злополучную книжку — и с треском порвал ее пополам!

...Более страшных секунд — пусть поверит читатель — в моей жизни не было. Я скручал так отчаянно, горько, как будто не книжка порвалась — но треснуло вдруг мое сердце. Мир почернел. Отец, который до этой секунды был для меня божеством — оказался не милосерден, а все-го-то лишь навсего справедлив...

Если изгнание из рая переживает любой человек, то этот вот случай с разорванной книгой был моим низвержением. Из мира полного, целокупно-благого — я рухнул в ущербный, «разорванный» мир. И всю свою жизнь, все тридцать лет, что прошли с той далекой — и так мучительно-близкой! — минуты, я, по сути, стремлюсь к одному: я надеюсь, усилием души возвратиться в потерянный рай, в мир, где книжка была еще целой. Желание это, при всей его странности и невыполнимости, есть, я уверен, высшее из моих устремлений. Ведь если я помню тот «неразорванный» мир — значит, он есть, он всегда существует; но он отгорожен от нас — нашим собственным несовершенством.

А уж если нельзя возвратиться, то, быть может, с усилием двигаясь дальше по жизненному пути, — возможно найти тот потерянный рай, обрести его где-то там, впереди? Если уж не вернуться к той, неразорванной книге — то, может быть, написать ее самому?

А всего через несколько дней рухнул и бастион справедливости.

В одном доме с нами жила Ксения Арефьевна, пожилая суровая женщина. Ее крестьянски-простое лицо всегда несло гневную мысль — и никто не мог выдержат фанатично-прямого, тяжелого взгляда.

Как-то она грозным голосом подозвала меня. Я доверчиво подошел. Арефьевна, ухватив меня за плечо, сурово спросила:

— Ты зачем мое белье выпачкал?

Я оцепенел и не знал, что ответить. Потом догадался: кто-то, играя под развешенным выстиранным бельем, сдернул на землю тряпки.

— Это не я, — ответил я тихо.

— Как не ты? — заревела соседка. — Как не ты?! Я же своими глазами видела!

Арефьевна не допускала не только чьих-либо, но и собственных сомнений в своей правоте.

Услышав мой плач, вышла мама. Соседка, крича, как раскольница перед сожжением, повторила свои обвинения. И мама смутилась. Конечно, душою она была за меня, и слышать мой плач ей было невыносимо; но напор разъяренной старухи был так силен, что мама отчасти поверила лжи. Пытаясь сначала утихомирить Арефьевну — он же, мол, не хотел, не нарочно же он! — она потом стала кричать: «Да уймитесь же вы, постираю я ваше белье!»

Каково было это услышать?! Сначала ужасною клеветою был унижен я сам; а сейчас перед этою дикою старухой унижалась уже моя мама... Ей-Богу, я ждал тогда чуда, вмешательства свыше — плача, так и закидывал голову, так и смотрел в пасмурно-низкое небо, — не может же, думал я, быть, чтоб за несправедливостью осталось последнее слово?!

Чуда, конечно же, не случилось. Мать увела меня, плачущего, домой; Арефьевна удалился с чувством собственного достоинства; тот неизвестный мальчик, из-за которого разгорелся сыр-бор, продолжал где-то бегать, шалить — жизнь шла своим чередом. А я, безутешно рыдая, оплакивал даже не столько себя — хоть обида была велика! — но оплакивал мир, оказавшийся неспособным даже и на справедливость...

Конечно, детство мое состояло не из одних только слез. Новый мир, мир деревни Бушмановка — моей родины номер два — с каждым днем открывался все с новых сторон. Я узнавал дом, окружение дома, магазин и больницу, деревню, овраг — круги моей жизни становились все шире. И все новые тропы, дороги манили меня.

Через дорогу от дома, метрах всего в тридцати, рос заброшенный сад: «дикарка», любимое место для игр. Тем удивителен был этот сад, что состоял почти из одних только груш. Кто, когда и зачем произвел такой садоводческий эксперимент — груши в здешних краях растут плохо — так и осталось загадкой. Груш было не менее двадцати. Большинство одичали и рожали мельчайшие, вяжуще-едкие, каменно-твердые грушки. На двух всего грушенках плоды росли сладкие: и уже с середины лета мы, дети, начинали охоту за ними. Мы обтрясали деревья, искали упавшие груши в траве, мы пытались сбивать их камнями и палками. Очень скоро оставалось висеть всего несколько сладких плодов: они зрели на самых вершинах, купаясь в небесной густой синеве.

А из множества игр, что мы затевали в дикарке, запомнились игры в индейцев. Индейское было в них только одно: изобилие перьев. Насобирав их по улицам нашей деревни, мы спешили в дикарку, набивали карманы грушами, выламывали по гибкому хлысту — и начинали сражения! Воткнув перо в грушу, надо было насадить ее на пруток — и широким, свистящим замахом запустить оперенною грушей в противника. Ух, с каким трепетом, свистом летел снаряд! Темный конус вращавшегося пера сначала был узким, потом раскрывался шире — и, по мере того, как полет замедлялся, обороты пера уже становились видны. Наконец, исчерпав свой разгон, груша, как вертолет, вертикально спускалась на траву. Уже и не думая о поражении цели, зачарованно мы наблюдали полеты вращавшихся, мягко гудящих, трепещущих перьями груш. Какой странный гибрид — сочетание птицы и груши — возникал в наших играх...

Всего же лучше в дикарке было в дни бабьего лета. Под ясным, нежарким солнцем листва груш желтела, краснела, темнела. Прозрачным, сквозным становилось пространство. Опавшие груши лежали местами так густо, что мы оскользались и падали, словно на льду. Винный дух забродивших плодов кружил голову. Груши, лежавшие в поредевшей, истоптанной жухлой траве, испускали коричневый сок — они будто плакали, провожая ушедшее лето. Я бродил по дикарке, рассеянно трогал стволы, поднимал помягчевшие груши. Они сейчас все, даже самые терпкие, были вкусны: полусопревшая мякоть становилась коричневой, сладкой, зернистой.

Над палыми грушами вились последние осы уже уходящего лета. Они торопились перед зимним своим погружением во тьму насытиться сладким сиропом. Осы гудели и вились, и ползали по истевающим грушам — их дрожачие нервные усики, лихорадочно что-то ища, трогали мякоть плодов — а я с любопытством и смутною болью следил за их напряженной трагической суетой. Печать уходящего лета и страх с ним расстаться, и как бы попытка его задержать — вот что было в возне суетящихся ос. Я сочувствовал им: их сухая тревога, осиная нервная дрожь мне была так понятна — как будто я видел модель своей собственной жизни...

Еще приходилось ходить в магазин. Он помещался — поверьте на слово — в одном здании с моргом. Но к этому здесь, на Бушмановке, относились спокойно — как и к тому, что в магазинной очереди всегда вперемешку стояли деревенские жители и душевнобольные.

Путь в магазин лежал между котлованами стройки — со временем здесь возвели мастерские — и огородами. Бывало, бежишь по бетонной дороге с кошелкой в руке, бубнишь, как стихи, материнский заказ — «батон, половину черного, два молока!» — и волна любопытства и страха проносит тебя мимо низкой, железом окованной двери и мутного маленького окошка. Вдруг, думаешь, там, в морге — лежит кто-нибудь?

По-настоящему страшно и не было: ребенком не воспринимаешь телесную сторону смерти. Мертвое тело кажется просто предметом в ряду остальных. Помню, повесилась на заборе больная — мы, дети, побежали смотреть. Бежал — было страшно; кулем же висящее, подогнувшее ноги недвижимое тело как-то разочаровало. И глаза машинально искали чего-то иного — наверное, той самой смерти, увидеть которую мы так спешили. Но ее, смерти, не было. Был пустой, облетающий парк, шорох листвы под ногами, ветер и низкое небо, забор и бесформенный темный мешок на заборе: он вызывал чувств не больше, чем вороха облетевшей листвы. Может быть, это детское равнодушие к смерти есть мудрейшее из возможных к ней отношений?

Но не забыть: я бегу в магазин. Вскочив на крыльцо, открываю тяжелую дверь — и встаю как раз в хвост сонной очереди.

Никогда и нигде не испытывал я столь глубокого чувства покоя, как в очереди бушмановского магазина. Время вдруг прекращало свой ход, и все погружалось в глубокую дрему. Лица и голоса, и рассеянный свет зарешеченных окон, и мухи, прилипшие к длинной коричневой ленте, куртки больных, телогрейки здоровых — все попадало под чары загадочного колдовства. Очередь двигалась неторопливо: казалось, не хватит и жизни, чтоб доползти до витрины, а потом, повернув, тихо шаркая вдоль нее, привставая на цыпочки, робко выглядывая из-за спин, наконец-то приблизиться к продавщице...

Очередь — это был тоже путь, долгое шествие к свету витрины, к ее пустынно-обманчивому сиянию. Холодный, порой трепыхавшийся свет за наклонным стеклом завораживал. Оцепенев, ты рассматривал пирамиды консервов и призмы молочных пакетов, широкие вазочки с ломким печеньем — было два сорта: «Сахарное» и «К чаю», — крошащийся маргарин, кофейный напиток «Кубань» с нарисованным всадником... Но тебе и всем людям, чьи взгляды прикованы были к витрине, хотелось чего-то иного — того несказанного, что сулил этот бледный трепещущий свет. Особенно взгляды больных, их бубнящие речи выражали невнятную эту тоску ожидания...

Снова и снова, уже в сотый раз ты разглядывал горки халвы на промасленной серой бумаге, полулитровые банки с перлового кашей, венгерское сало со странным названием «шпиг», пластины которого были посыпаны ядовитую красною пылью, смотрел, как лежат серебристые сельди в крепчайшем рассоле — как рыбы выпученные глаза куда-то бесстрастно глядят мимо нас. Там, за стеклом — жила вечность, и лица притихших

людей озарял синеватый и призрачный, вечный, обманчивый свет. За сиянием магазинной витрины ты угадывал сонную мощь, неподвижную силу эпохи — силу, которой как раз не хватало тебе самому...

Пришло время вспомнить о первой, осознанной мною, болезни. Это тоже, по сути, дорога, сложное путешествие: куда только нас ни заводят ее прихотливые тропы, в каких только странных и недоступных здоровью пространствах тогда не приходится побывать. Но начну я с рассказа о первом грехопадении. Эти события — грех и болезнь — так тесно связаны, что не будь первого — не случилось бы, может быть, и второго.

Нас, деток, выгуливали во дворе детсада. День был серый — и мокрый забор, окружавший детсадовый двор, казался особенно мрачным. Единственным развлечением были качели: тяжелое темно-зеленое сооружение, которое с мерным скрипом раскачивалось в центре двора. Это был словно маятник колоссальных часов: каждый взмах, каждый скрип деревянной платформы подталкивал время — вытесняя нас, деток, во взрослую жизнь.

А мы пытались вскочить на размахавшиеся качели. Мне, неловкому, это не удавалось. И я, разозлившись, подхватил с земли валявшееся ведро, ярко-зеленое, новое, с цветочком на глянцево-мокрому боку — и швырнул им в качели. Платформа как раз отшатнулась, ведро упало на землю — и через миг вся тяжелая туша качелей, смыкаясь с землей наподобие пасти, с хрустом смяла ведро и отшвырнула его обратно к моим ногам! Оцепенев, я рассматривал жестяной искореженный блин.

Дети запрыгали возле меня, как арлекины. «Ага! — возбужденно, злобно кричали они. — Поломал, поломал! Все будет рассказано...»

И я струсил. Растерявшись, униженно начал просить: «Ну не надо, не говорите...» Во взглядах детей появилось презрение и радость. Людей, увы, радует слабость ближнего: она как бы оправдывает наше собственное несовершенство. И рыжий Богатиков снисходительно мне обещал: «Да ладно, не бойся, не скажем...»

Жизнь милосердно давала мне шанс покаяния. Подошла воспитательница, толкнула ногой исковерканное ведро и спросила: «Кто это сделал?» Дети молчали и хитро посматривали на меня. В моей душе происходила мучительная борьба. Если бы пауза продлилась еще две-три секунды, или если бы воспитательница остановила на мне свой рассеянный взгляд — я бы признался. Но воспитательница зевнула, глянула на часы и ушла. Я был спасен — и погиб в ту секунду...

Тем же вечером я заболел. Как нарочно, мама долго не приходила. Я сидел на ковре в опустевшей притихнувшей зале; словно жаркое облако накрывало меня. Все предметы вокруг как-то распухли — стол, стулья, игрушки, разбросанные по ковру — и все угрожающе-медленно подвигалось, давило, хотело что-то ужасное сделать со мною...

Даже появление мамы не принесло облегчения. Становилось все хуже, теснее и жарче. Помню, как мама несла меня в темноте. Мне, отвыкшему от ношения на руках, было стыдно, и я нарочно стонал, чтоб показать, как мне плохо.

Затем наступает провал. Зато помню, как я очнулся. В комнате горел слабый свет. Мама сидела возле кровати: я хоть и не видел ее, но точно знал, что она рядом. Слабость была так велика, что я не мог повернуться и долго разглядывал стену. Коричневатый рисунок обоев, морщины и пятна — все это жило особенной жизнью. Наверное, это были отголоски мало-помалу отпускавшей меня лихорадки: рисунок стены шевелился, и я равнодушно следил за игрою причудливых арабесок. Спустя какое-то время я уже смог повернуться и что-то сказал слабым голосом. Мама, измученная не менее моего, тотчас вскочила и напоила меня чем-то теплым.

И вот тут память дарит странное воспоминание. Из-за сильного жара я был прикрыт лишь одной простынею. Я сбросил ее и, как что-то чужое

и незнакомое, стал разглядывать свое тело. Особенно я удивился пупку, этой вмятине посередине впалого живота. С изумлением и почти что со страхом разглядывал я его. Неужели я чувствовал, что именно здесь скрыта память о первородном грехе, об ущербе, о падении человека? Ведь пупок — это след пуповины, это память о том, что мы рождены не в раю, а на грешной земле; а раз мы рождены — значит, смертны...

Смешно и стыдно сказать, но дело дошло до истерики. Я плакал, кричал: «Почему? Почему у меня вот это?!» Мама, бедная, уж и не знала, как меня успокоить. Среди прочих испуганно-беспорядочных слов она, помню, сказала: «Ну что же ты плачешь? Вот и у папы есть точно такой же». Я не поверил. Мама позвала отца: «Покажи!» Он, не понимающий толком, в чем дело, заголил свой живот.

И я успокоился. То, что отец — самый сильный и умный, и уважаемый мной человек — тоже имеет выбоину на теле, примирило меня со своей горькой участью. «Уж если и он такой же, — думал я, засыпая, — ну, тогда еще ладно...»

Мы, бушмановские — жители приовражья. За миллионы лет речка Киевка промыла живописнейшую долину, и люди охотно селились на ее берегах. Тридцать лет назад судьба и нас с родителями привела на склоны бушмановского оврага.

В первые годы разлуки с любимую курскую землей я тосковал и никак не мог свыкнуться с новым местом. Но овраг меня выручил, исцелил. Когда, жарким днем, я спускался в него — кузнечики прыскали из-под ног, и гудели шмели, и небесная синь опускалась так низко, что ветви берез тонули в ней, словно в воде, — тогда мне казалось, что я возвращаюсь на родину. Я бежал по тропе между склонов оврага — становясь понемногу опять сам собою. Думалось, пробегу еще пять-шесть шагов — и увижу вдруг бабушкин дом, нижний плант, огороды, подбегу к сруб Нинкиного колодца, и моя голова отразится на зыбкой, мерцающей пленке воды...

Овраг возвращал меня в рай. Я любил прибегать на обрыв, на крутую охранныю осыпь и прыгать в песок — а потом, уцепившись за корни, взбираться обратно. Как заведенный, я снова и снова взлетал над сухой, завернувшейся кромкой обрыва, и падал на склон, и сползал вместе с пыльной лавиной песка — может, надеясь в один из прыжков не упасть, а взлететь, словно птица?

А сколько ос жило здесь, на песчаном обрыве — и сколько часов зачарованно я наблюдал, как без усталы роют они свои ненадежные норки! Звон их прозрачных эльфических крыльев непрерывно дрожал над горячим песком...

Овраг был полон загадок — и слава Богу, что ни одной из них я до сих пор не сумел разгадать. Загадкой был, прежде всего, сам ручей: то болотисто-сонный, то быстрый, то мутный в паводок или ненастье, то пустой, а то полный мелькающих рыбок, волнистых пиявок, личинок стрекоз, водомеров, вертячек. Летом, теряясь в высокой траве, в непролазной крапивной уреме, осенью он становился отчетливо виден в оголившихся, пестрых, прихваченных инеем берегах. Зимой ручей нес лыжню — лишь на быстрых участках, промоинах она выбиралась на берег и петляла меж кочек, кустов, — а потом вновь сбегала на ровный, присыпанный снегом, ледок.

Весной же ручей становился рекою. Подзатопленный бурый лозняк, прогибаясь, упругими прутьями резал тяжелую воду; грязная пена, лохмотья травы неслись в обезумевшем мутном потоке.

На перекатах ручья я не раз находил известняковые окаменелости. Это были обломки далеких, пропавших миров: эти серые завитки, отпечатки ракушек, какие-то словно свирели — точнее, органы, — из скелетных трубок. Ручей, разрывая пласты, напоминал земле ее прошлое — о котором она и сама позабыла...

Еще был в овраге тоннель. (Прошедшее время — условность рассказа; тоннель, к счастью, цел до сих пор.) Это сооружение дошло к нам как будто из римских имперских времен. О том, кто и когда его строил, сведения разноречивы. Одни говорят, что немецкие пленные после войны; другие же утверждают, что строилось это архитектурное чудо еще до войны, руками родных наших зеков. Но ясно, что только империя, щедрая на рабочую силу, могла, пропуская ручей сквозь насыпь железной дороги, выложить из камней высоченный и гулкий, торжественный арочный свод.

Огромные блоки гранита уложены были так плотно, что не просунуть меж ними ножа. Ручей широко разливался вниз, по цементному ложу. За многие годы его так изъела вода, что ложе казалось естественной насыпью камня. По высокому своду качалась сеть бликов — отражения зыби ручья.

Мальчишкой я с замиранием сердца входил под гранитный свод. Пространство здесь было богаче, сложнее, таинственней, чем снаружи — к нему добавлялось еще одно измерение, измерение эха. Крикнешь — воздух упруго качнется, толкнется о влажные стены и вернет тебе твой же собственный голос, но только уже долетевший как будто из вечности... Мурашки бежали от гулкой, загадочной той переключки.

В арку тоннеля ты видел кусты ивняка, склон оврага, полоску синевшего неба. И, поскольку все было вставлено в полукруглую рамку — как на картине старинного итальянского мастера, — все казалось прекрасней, чем оно было в реальности.

А если, пройдя сквозь тоннель — приходилось, держа равновесие, перепрыгивать с камня на камень, — спуститься вниз по ручью, пробраться в зарослях черной ольхи, то ты натыкался на камень. Ледниковый валун, на две трети утопленный в землю, он был камнем камней, краугольной бушмановской глыбой. Черный, как ночь, как великий Кааба — святыня ислама — год за годом он погружался все глубже, и все неразборчивей была надпись, какие-то буквы и цифры на его исполинском задумчивом лбу. Чья десница рубила слова? На каком языке свершена та неясная запись? Бушмановские старики вспоминали, как детьми они загорали на теле громадного камня и как безуспешно пытались прочесть письмена; мы, дети, ловили рыбешек вблизи черной глыбы и тоже пытались читать — конечно же, безрезультатно. Видно, забыт тот язык, письмена замолчали — но отчего же душа так старается вспомнить его, так надеется все же узнать смысл таинственных этих посланий?

Все же главные наши дороги — те, по которым проходит душа. Путь как движение души, как ее пробуждение к смыслу — только это, по сути, имеет значение. Удивительно, правда, и то, что перемены души часто связаны с перемещением в пространстве. Суть путешествия — в том особенном потеплении взгляда, каким путешественник смотрит вокруг. Мир вдруг становится бесконечно глубок, интересен, подробен — будто нам протирают глаза, и унылая пыль повседневности больше не застит взора.

Такое же действие производят и книги: пишешь ли сам, или вчитываешься в чужое. Только первое напоминает движение по бездорожью, в нехоженной чаще — а во втором случае, двигаясь вслед за автором, идешь по уже проторенной тропе.

В детстве читал я немного; но кое-что из прочитанного оставило глубокий след. Наверное, дело не столько в достоинствах книг самих по себе, сколько в детской готовности отозваться, пойти вслед за ними. Таких вот особенных книг я помню две: «Жизнь насекомых» Фабра и книгу норвежской писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и комета». Над этой последней, когда, спустя тридцать лет, я ее перечитывал сыну, мне едва не пришлось прослезиться. К тому же, сюжет этой книги — дорога. Сказочные существа, населяющие страницы, все куда-то бредут,

то заблудятся, то остановятся на привал и разведут костерок, то встретятся с кем-нибудь еще более несуразно-смешным, чем они сами.

И есть в этой книжке один удивительный образ: «таинственный путь». Он даже там нарисован: аллея из плотно стоящих деревьев, сомкнувшихся кронами, с тропинкой, прыгающей по древесным корням. Не знаю, чем так покорила меня этот рисунок, но, едва мне случилось увидеть вот нечто подобное, уводящее в тень, в неизвестность — как что-то всегда отзывалось в душе. И было отраднo осознавать, что таинственный путь существует, что я, если вдруг захочу, могу ступить на него. Как я сейчас понимаю, это детское чувство было томленьем по чуду — по тому несказанно-неясному, что выводит за рамки реальности.

Всем дорогам и тропам, которыми мне доводилось шагать, я неосознанно задавал тот же самый вопрос: может, это и есть он, таинственный путь? И были дороги, очень похожие на него. Помню проулок на родине, в Выгорном — дорогу от нижнего планта на верхний — манящий, загадочный сумрак под сводом акаций... Помню путь до колодца и дальше, в речную урему: черная торфяная тропа влажно пружинила под ногами, и с каждым шагом вокруг становилось таинственней, сумрачней, глуше... Помню, как в мареве зноя куда-то вела полевая дорога, как длинная, в четверть, стерня ослепительно-ярко горела на солнце, как копчик, дрожа, зависал над жнивьем — и как в этой пыльной, ползущей со взгорка на взгорок дороге тоже была сокровенная мысль: и дрожь марева над косогором передавала все напряжение, всю глубину и тоску той таинственной мысли...

Но самой таинственной, самой влекущей и самой похожей на тот нарисованный сказочный путь остается дорога над речкой Калужкой.

Долина реки глубока, и поэтому здесь, внизу, всегда тихо. Крутой склон зарос дубняком, а ниже, к реке — ежевикой, черемухой, ломкою ивой. Тропа то выводит к журчащему перекату, то тянется по-над плесом, то теряется в кочках, кротовинах луга.

Зимой, если день солнечный, синева омывает вершины дубов. Небо будто течет, оплывает по веткам — а в вышине реют черные вороны. У них как раз пора брачных игр: птицы попарно кружат, кувыркаются в небе, и их горловой влажный крик — «Кр-рак! Кр-рак! Кр-рак!» — звучит, как ворчанье далекой грозы, как раскаты клокочущей страсти.

Хорош этот путь и весной, когда зацветает черемуха. Выше по склону дубы только-только готовятся выбросить лист — а внизу, у реки, зелень уже загустела. Дорога ныряет в чащобу, под арку из юных, склонившихся гибко, стволов. Голова начинает кружиться. Томительный, сладкий, дурманящий запах черемухи плывет, как густое вино. Он так сладок, так нежно-порочен, что даже становится стыдно: словно ты виноват уже тем, что вдохнул этих чар, коснулся невидимых прелестей жизни... А тут еще и соловей вдруг с оттягом хлестает тебя, бьет навывлет зарядом зернистой, смертельной, отчетливой дроби!

Но ты, как ни странно, останешься жив — и еще встретишь лето. И пройдешь по таинственному пути в самый зной, в середине июля. До Калужки идти напрямик километра четыре; голова уж гудит от шаганья по зною, по пыли, под яростным солнцем. И, как бывает в полуденном пекле, душа начинает томиться. «Зачем это все?» — вопрошает она. Зачем эта пыль, это солнце, зачем я иду по дороге — зачем вообще я живу? Кажется, если вдруг я сгорю в этом пекле, то миру и мне станет легче. Тогда уже некому будет почувствовать зной и страдать от него — тогда все сравняется, воды сольются, и странник вернется домой, в породившее лоно. Зной и есть некий зов: «Возвращайся!»

И такой вот, измученный, я спускаюсь в долину Калужки. Река, ее свежесть, ажурная тень серебристых ракии и заливистый звон переката — все это сразу несет облегчение, сулит вернуть жизни утерянный смысл. Иду вверх по реке, по медовой от запахов пойме. Уже приближается путь. Вот он: заветный, заманчивый сумрак. С первых шагов

в остро пахнувшей, влажной черемуховой тени ты приходишь в сознание. Дорога здесь будто нарублена поперечными полосами-брусами, шириною как раз в шаг коровы. Кажется: траки гусениц гигантского трактора отпечатались здесь. Слева и справа — чащоба, сплетенная зелень, в которой всегда кто-то дышит, шуршит и взлетает. Иглы солнца пронзают лиственный свод, втыкаются в землю — и дым испарений курится в тех солнечных, переставляемых ветром, столбах...

Вот, наконец, и родник, твой Кастальский таинственный ключ! Стекланный, бугристый поток вырывается из-под юных дубов: слово и не вода, а искрящийся свет льется по каменной россыпи и отражается на дубовой листве. Ключ журчит звонко, заливисто, радуясь встрече. Ты же, пав на колено — как рыцарь, как подданный этой искрящейся влаги! — омываешь лицо ледяным, обжигающим, светлым сияньем...

III

Пришло время вести меня в школу. Будущим первоклассникам объявили сбор в конце августа; меня и моего приятеля Гришу провожали отцы. Денек выдался теплым, и было жарко в костюме: ноги потели в шерстяных брюках, и ворот рубашки сдавливал шею.

У школы нас оглушили гвалт, многолюдье и суета. Букеты цветов качались и плавали над головами. На лицах у деток, почти у всех, была озабоченность или испуг. Остался групповой снимок: мы, вместе с учительницей Зоей Петровной, стоим перед школой. Я приткнулся на корточках в первом ряду; мой взгляд не по-детски серьезен. Видно, дорога, в которую я отправлялся, сулила немного радостей, зато много печалей. Я чувствовал это и строго, тревожно смотрел в черный глаз объектива — в бездонный зрак вечности.

Вскоре выяснилось, что нас привели часа на два раньше, чем нужно. Отцы решили, перекусив где-нибудь, прогуляться до парка. Столовая находилась неподалеку, на улице Красной (теперь это улица маршала Жукова). Что мы ели тогда, я не помню. Но атмосфера торжественной строгости, важной сумрачной простоты «Общепита» запомнилась мне навсегда. Не сказать, чтобы было особенно чисто. Гулкое эхо летало меж стен. Интерьер был казенным, скупым — но даже и в этом был некий смысл. Империя словно чем-то другим, несравненно важнейшим была занята, ей некогда было и здесь наводить порядок — например, поливать засыхающий фикус, — и каждый вошедший осознал, что он виноват одним уже тем, что осмелился попросить государственной милости: скудной еды. Но вместе с виной оживала в душе благодарность за полубесплатный — да что там: бесплатный! — паек, и глубинное чувство покоя. И эта сложнейшая смесь благодарности и вины, и уюта среди бесприютности, и покоя в торжественных недрах империи — весь этот сплав уже начинал наполнять мою юную душу...

До парка ехали на троллейбусе. За пыльными стеклами проплывали дома и деревья. В салоне же интересней всего был кассовый аппарат. Время от времени кто-нибудь опускал в его прорезь монеты, нажимал лязгающую клавишу, ждал, потом с удивлением нажимал еще пару раз, потом пытался выковырнуть билет пальцем — а потом, тихо выругавшись, отходил.

Городской центр был шумным. Мне, мальчику с тихой окраины, непривычен был выхлопной синий дым, тасованье машин и множество торопящихся, проходящих, словно друг сквозь друга, людей.

Но в парке я успокоился. Здесь было почти, как у нас на Бушмановке: дорожки, кусты и скамейки, неспешно ходившие люди. По тропинке, усыпанной красным песком, мы приблизились к тиру. Сухие хлопки раздавались внутри синей будки.

— Па, давай постреляем, — попросил я отца.

Нам купили по десять пулек: они стоили две копейки штука. Было непросто переломить духовое ружье: но, попыхтев, удавалось-таки дотянуть ствол до щелчка, до упора. Неизъяснимо-приятно было влагать жестяной колпачок, невесомую пульку — в жирный, блестящий торец ствола. Ружье снова щелкало, выпрямляясь, и тяжело ложилось цевьем на ладонь. Целились «под обрез»: надо было вывести в одну линию глаз, прорезь, мушку и край мишени. Незримая нить, соединявшая эти точки, то и дело рвалась, и я с нетерпением — эх, была не была! — нажимал спусковой крючок.

Радость удачного попадания жива в душе до сих пор. Когда после долгого, на задержке дыхания, совмещения прорези, мушки и цели, в нужный момент нажимаешь на спуск, и фанерные стены возвращают сухой хлопок выстрела, и какой-нибудь слон или заяц устало заваливается назад — сердце пустеет, а потом наливается сладкой истомой... Несомненно, что в сочетании долгого, нараставшего напряжения, а потом вдруг мгновенного облегчения и пустоты — было что-то почти эротическое. Зигмунду Фрейду уж было бы чем поживиться, разбирая символику выстрела: чего стоит одно выпрямление ствола! Так что можно считать: первый мой эротический опыт получен был в парке у кинотеатра «Центральный», в синей фанерной будке с белыми буквами, из которых складывалось непонятное, будто бы из арабских ночей, заклинание: «ДО-СА-АФ»...

Школа, особенно в первые годы, была тяжела. Недаром и память отказывается восстанавливать школьный мир, как единое целое. Всплывают фрагменты: то крышка парты, разрисованная с изнанки чернилами, то сползающий ранец, то черная площадь доски, на ней меловые разводы от плохо вымытой тряпки, и крошащийся мел в неуверенных пальцах — то серый линолеум пола, на который летишь от подножки, ударяясь лицом и ладонями... Еще вспоминается, как на переменах кричал и визжал, и толкался, и дрался, и куда-то бежал весь огромный, заполненный школьниками, коридор. Затерянный в этой толпе, ты был словно в бурлящем котле, в котором кипело густейшее варево. Как было выжить и как сохраниться внутри той клокочущей плазмы?

Но тяжелее всего был путь из школы домой. Ожиданья бушмановского автобуса номер тринадцать — а он ходил редко, с интервалом часа в полтора, — были сущим мученьем.

Со второго класса учились во вторую смену, и уже начинало смеркаться, или было темно, когда мы выходили из школы. Нас, бушмановских, могло быть то трое, то четверо или пятеро; но двое присутствовали неизменно: я — и Богатиков. Этот рыжий, веснушчатый, хулиганистый паренек по нескольку раз на дню затевал со мной драки — а когда у меня либо кровь начинала капать из носа, либо слезы текли из глаз, он убегал со злодейским и отвратительным смехом. Даже не скажешь, что он побеждал — убегал всегда он, а не я, — но с удивительным постоянством, на протяжении двух или даже трех лет, ежедневно происходили наши с ним схватки.

Моя беда была в том, что я не мог драться — и не мог уклониться от драки. Какой-то стопор не позволял мне ударить человека в лицо. И Богатиков чувствовал: меня можно бить безнаказанно. Я не отвечал на удары, но и не убегал: я был чем-то вроде привязанной дичи. Конечно, потом этот тормоз срывался — когда я уже ничего не соображал от обиды и боли, — но к этой минуте торжествующий смех врага доносился откуда-то издалека.

Похоже, загадка моего непонятного поведения гипнотизировала самого Богатикова. Он бил меня уже как бы из чувства протеста; он словно доказывал: так жить нельзя! Но я жил, и многие сотни ударов ничему не могли меня научить.

...Шли к автобусной остановке. Мокрый снег хлопал в ногах. Фонари омывали нас сверху напряженным, болезненным светом. Ожидание драки нагнетало тоску: я шел в ее облаке, словно в тумане.

Затравкой к сражению служила какая-нибудь мелкая пакость, исходящая от Богатикова. Он то неожиданно засыпал мне за ворот горсть мокрого снега, то делал подножку, то срывал с меня шапку. Вскипала волна возмущения, обиды. Богатиков улепетывал, а я гнался за ним, и качавшийся рыжий затылок становился все ближе. И вдруг, обернувшись, Богатиков спрашивал: «Ну, чего?» Он стоял совершенно открыто, опустив руки — именно это парализовывало меня. И теперь уже он напирал, толкал меня в грудь: «Ну, чего ты? чего?» — а я с ужасом понимал: никогда, хоть убей, я не ударю первым. Словно цепи держали меня, и я ждал одного: чтобы Богатиков сам поскорее ударил — и тем расколдовал меня, снял заклятье!

Он ловко бил костлявым, злым кулачком. Попадал чаще в нос — знал мое слабое место, — и только когда во рту у меня становилось солоно-сладко от крови, я начинал запоздало махать кулаками. Но Богатиков, хохоча, уже убегал, а я оставался сглатывать слезы и кровь. А если я снова его догонял, то решимость ударить за время погони слабела — и все повторялось сначала...

Такой нерешительный стоицизм меня совершенно изматывал — и он же, наверное, вызывал изумление зрителей. «Не бьешь — так беги!» — таково было правило жизни. Но я ему не подчинялся. Я был, можно сказать, героическим трусом: я не мог победить — но я бы умер скорее, чем отступил или сдался.

Размышляя об этом, я обозначил сей феномен как «полк Андрея Болконского». Если помните, под Бородиным полк князя Андрея попал под жестокий обстрел. Выносили десятками раненых и убитых, но ни отойти, ни расседоточиться, ни хотя бы атаковать — все равно же полк погибает в бездействии! — никто не давал команды. Князь Андрей разрешил солдатам лишь сесть на землю, и сам, заложив руки за спину, расхаживал взад и вперед под свистящими ядрами, разделяя судьбу терпеливо гибнущего полка.

Его полк таял — не сделав ни единого выстрела. Полк, который не мог отступить, но не мог и ввязаться в сражение — он был уже не военной единицей, но как бы духовным, терпеливо страдающим существом. Как, кстати, и сам князь Андрей, который с болезненным напряжением участвовал в жизни — понимая, что он этой жизни чужой.

Так и я был — чужим. Чтобы убежать или драться, надо быть как бы вставленным в жизнь, надо быть ей родным, и не наткнуться на грань, отделяющую чувство и мысль — от поступка. Я же, бушмановский Гамлет, уже в семь лет был настолько отравлен рефлексией, что простейшее действие — удар в лицо — сделалось невозможным. Я жил как бы около жизни, стоял на берегу ее мутного, нерассуждающего потока. Точней сказать, я забрел в воду по пояс, но не решался поплыть. Было боязно выйти обратно на берег — сухой, каменистый и голый, — но было и страшно нырнуть, окунуться в поток. И такое вот земноводное положение было мучительным, было дважды постыдным — ибо я смутно чувствовал свою вину и перед берегом духа, и перед мощным движением жизни, — но в то же время я сознавал, что вот это срединное, полутелесное, полудуховное состояние и есть моя человеческая судьба...

Но после боев — точней, в промежутках меж ними, — бывали минуты умиротворения. Автобус мы ждали у хлебного магазинчика на Маяковке. Отыграв в какой-нибудь сотый раз спектакль с дракой, — публике было уже скучновато, — все, и актеры, и зрители, заходили погреться в хлебную лавку. Саднили разбитые губы, и хлюпал расквашенный нос — но в душе была странно-блаженная пустота. Я наслаждался каждой секундой тишины и покоя — а присутствие рядом Богатикова делало перемирие таким хрупким, таким драгоценным, что все это было похоже на счастье.

Магазинчик топился дровами. За обледенелым окошком темнела уже настоящая ночь. Печь дышала сухим, будто шелковым, жаром. Береста,

как живая, кольцами скручивалась в огне; угольки, щелкая, вылетали на жестяной лист перед печью, запаха свежего хлеба смешивался с запахами золы, подсыхающих возле печки поленьев, запахом мокрых валенок продавицы. Прилавок, изрезанный хлебным ножом, был усыпан хлебными крошками. На полках за ним наклонно стояли лотки. Буханки черного располагались рядами; батоны были навалены кое-как, в беспорядке. Еще здесь висели золотистые связки баранок; в картонных коробках, в полупрозрачной вощенной бумаге было насыпано весовое печенье.

Продавицы нас знали, любили и ласково спрашивали:

— Что вам, детки?

Скинувшись по две-три копейки, мы покупали четвертушку черного, или пару бубликов с маком, или несколько сахарных сухарей. Поразительно: будто и не было драки! Мы с Богатиковым дружелюбно делили краюху, и я был готов простить ему все, что было, и все, что будет — ради вот этой минуты тепла, примирения и покоя...

Вдруг за темным окном проплывала светящаяся громада. «Автобус, автобус!» — с истошными криками мы подхватывали портфели и бросались наружу. Двери-гармошки, раздвинувшись, пропускали нас в освещенный салон. Автобус с урчанием трогался. Мы становились у поручня задней площадки, там, где подбрасывало ошутимей всего — и радостным визгом встречали каждую выбоину дороги. Автобус рывками, с натугой, продавливал ночь. Дребезжали сиденья и стекла, мы кричали и прыгали, пассажиры с улыбками смотрели на нас. И как бы хотелось мне, чтобы целую вечность гудел, и качался, и ехал куда-то автобус — чтоб длилась и длилась блаженная та передышка...

Пропущу сразу несколько лет. И продолжу рассказ об исхоженных мною дорогах с того момента, когда я сделался бегуном.

Первый пробег — еще до спортшколы, до регулярных занятий, — я совершил в конце лета, прохладным и солнечным днем. Пройдя за бушмановские дома, пересек насыпь железной дороги — рельсы холодно, тускло блестели под солнцем, — и вышел к плотине. Ветер трогал поверхность пруда: рябь пробежала от берега к берегу. И, когда очередной порыв ветра толкнул меня в спину — я побежал. Дорога шла в гору. Пробежав метров двести, я уже шумно дышал и был весь в поту. Медленно-медленно приближались молодые дубы, что тесною кучей росли впереди, на краю поля: издаലെка они выглядели, как одно огромное дерево. Пот заливал глаза; ноги путались и цеплялись одна за другую.

Воздух со свистом входил в пересохшее горло — но был каким-то пустым, и его не хватало измученной, жаркой груди.

Зачем я бежал, чего ради мучился? Ведь не просто же так тринадцатилетний подросток творил над собой эту попытку? Я словно спасался, хотел выбежать из-под чего-то огромного, темного, что иначе накрыло б меня. Так, бывает, в мучительном сне убегаешь от смутной угрозы. Ночью в такие минуты кричишь; днем, по тем же глубинным причинам — отправляешься бегать.

...Дубки уже передвинулись за спину — а передо мною лежала все та же, полузаросшая, в две колеи, дорога. Измученный, я все-таки видел ее так отчетливо, как никогда раньше. На ней сейчас клином сошелся весь свет: в мире остались лишь я — и дорога. А в иные секунды казалось: меня больше нет, есть только эти вот пыльные две колеи — и мука, что связана с ними...

Там, где дорога нырнула вглубь леса, силы меня покинули — и я рухнул на траву. Сердце билось так сильно, что, казалось, должно пробить ямку в мягкой земле. Ноги дрожали; во рту был противный привкус.

Но я чувствовал, что спасение близко: я понял, что бег и дорога помогут мне вынести груз бытия. Ведь я, бедолага, всегда находился на грани меж внешним и внутренним, объективным и субъективным — и страдал от этого промежуточного положения. Когда же я начинаю

бежать — уж не знаю, поймет ли читатель, — я бегу как бы сразу в оба конца. С одной стороны, выбегаю во внешний мир, укрепляюсь в нем, понимаю и вижу его так отчетливо, как доселе не видел; а, с другой стороны, я бегу как бы внутрь самого себя. Один и тот же путь бегуна становится сложным, двойным: это путь и наружу, вовне, в пестроту-суету объективного мира — и одновременно движение внутрь, путь навстречу себе самому.

Лет в двенадцать-тринадцать для нас, пацанов, наступала эпоха велосипедов. Все каникулы, целое лето мы, можно сказать, не слезали с седла. Кажется, без велосипедов мы выросли бы другими: они словно ставили нас на крыло. И недаром единственная модель подросткового велосипеда тогда называлась «Орленок». Его конструкция была почти примитивной — да мы еще упрощали ее, снимая щитки с колес и багажник, — но это была благородная простота летательного аппарата: синий ромб велорамы всегда был нацелен вперед, жаждал скорости и полета.

Помнишь, как, выведя велосипед из сарая, ты готовился в дальний путь? Как, поставив его на седло и на руль, раскручивал заднее колесо, подносил к нему щепку — с треском летела сухая земля, вилась пыль! — и вот уже шина чернела, а обод блестел серебристой тонкой каймой... А как подкачивал шины? Свинтив ниппельный колпачок, наворачивал трубку насоса, и с хрюканьем начинал ходить поршень в лагунном греющемся цилиндре. Ниппели были предметом особого беспокойства: их воровали. Только, бывало, оставишь «велик» на пару минут у дверей магазина — и вдруг слышишь короткий взлетающий свист! Выбегаешь — но поздно. Велосипед стоит грустно, понуро; ниппель вывернут, и шина заднего колеса распластана по асфальту...

Подкачавшись, ты, как положено, мазал слюной торец ниппеля: не выходит ли воздух? Потом ударял колесами о дорогу — велосипед прыгал, как мячик. Все, можно ехать.

Всем весом, привстав, прожимаешь педали — «Орленок», вздрагивая на стыках плит, разгоняется по дороге. На всей скорости, подняв ноги к раме, проезжаешь по луже. С шипеньем, до самого дна, раскрываются крылья воды, колеса юзом скользят по заиленным плитам — и мокрый «Орленок» вырывается снова на сушу! Как сейчас вижу отпечатки колес на дороге, эту изящно двоящуюся волну....

А впереди было целое путешествие. Лихо прокатывал по бушмановской улице. Мохнатые шавки с отчаянным лаем катились в пыли позади колеса. Разогнавшись, взлетал на гремящий щебеночный склон железнодорожной насыпи. Просмоленные шпалы пахли так же, как втулки колес. С насыпи скатывал без тормозов: руль дрожал, вырываясь из рук, и холодок нарастающей скорости сдавливал сердце.

Почему нас, подростков, так увлекала скорость? Я думаю, все эти вело-безумства — гонки и горки, прыжки и трамплины — были попыткой взлететь. Мы томилась тяжелою косностью мира — и хотели, пока лишь в физическом смысле, эту тяжесть и тесноту превозмочь. Нами двигала та же самая воля и сила, которая заставляет десятимесячного младенца вставать, перехватываясь за прутья кровати, а потом делать первый самостоятельный шаг. Мы продолжали великий, еще во младенчестве начатый, бунт против тяжести мира.

Конечно, случилось и падать. Земля вдруг летит на тебя и безжалостно бьет по лицу — обдирая колени и локти, катишься кубарем, — но, вскочив и еще не почувствовав боли, испуганно смотришь: как там «Орленок»? Вроде, жив: он лежит на боку, колесо, подвернувшись, слегка «восьмерит», и солнце играет на спицах...

За плотиную начинался подъем: приходилось, привстав, подналегать на педали. Зато в лес, в его светлый сумрак, въезжал с облегчением. Шины ласкались по влажной тропе. Через лес ехал медленней, но казалось, что скорость прибавилась: мелькали стволы, в глазах все рябило,

солнце то мелко дрожало, то словно взрывалось над головой, в прогалах листвы. Ты едва успевал уклоняться от веток, нырять под зеленые арки. Как был хорош этот летний, пронизанный иглами солнца и нежно дымящийся лес!

Впереди показывался просвет — и «Орленок», сверкая рулем, вырывался на солнце, на просеку. Метелки травы застучали по спицам колес. Здесь гудели шмели, здесь, в густом застоявшемся воздухе, пахло медом, и белая таволга пенилась по низинам.

А сколько здесь было бабочек! Ты даже останавливал велосипед, чтобы ими полюбоваться. Солнечный ветер подхватывал разноцветные те лоскутки и взметал в синеву — а оттуда, дрожа, они вновь опускались в стеклянное марево.

Бабочки млеи, кружились, то припадали к цветам, добавляя узора и яркости их лепесткам — то солнечный трепет их снова срывал и подбрасывал в небо. Нырющий, мреющий их невесомый полет был бесплотным. И душа исходила истомой, следя за вибрацией бабочек над разноцветьем июля. Когда иссиня-черный, с белесой каймой «адмирал» или пестрый «павлиний глаз» вдруг присаживался и сонно-призывно сводил-разводил свои дивные крылья, ты хотел разглядеть и запомнить прекрасный, показанный мельком, узор. Но бабочка, словно чувствуя, что человек может вынести созерцание такой красоты лишь в пределах короткого мига — бабочка тут же взлетала, и в глазах оставалась лишь яркая дрожь...

«Орленок» лежал, свернув шею, в высокой траве, а ты все бродил по цветущей поляне. Бабочки, как бы что-то тебе обещая, реяли над разнотравьем, в медовой полуденной неге жары...

Но то было летом; зимой мы катались на лыжах.

Лыжи и палки, с грохотом извлеченные из кладовой, прислонялись к стене — и прихожая наполнялась запахом просмоленного дерева, мази и лыжных ботинок. Волнуясь и радуясь, клал на лыжи зеленую или синюю мазь, затем растирал ее пробкой — чувствуя, как мазь тает от трения.

В подъезде задевал стены носками лыж, и они были в побелке. На улице, в первый миг, тебя словно гладило по глазам: белым снегом, рассеянным светом, мягкими линиями сугробов. Тело стремительно остывало в морозном и чистом воздухе — чтоб не замерзнуть, надо было бежать.

На лыжи вставал у подъезда. За сараями — в одном из них хрюкали поросята, — начиналась пустырь. Ветерок гнал поземку. День был, как матовое стекло: на небе, натянутом бледною пленкою, виднелся отчетливый солнечный диск — и слабые тени лежали на бледно-молочном, таком же, как небо, снегу. Ветер тянул, как обычно, с востока, гнул будылья травы, на глазах заметая следы сухим снеговым порошком. Морозило: лоб и щеки немели. Подавшись вперед, налегая на палки, ты всем телом продавливал ветер, крошил целину. От носков лыж, поочередно ломающих наст, змеился дым снега.

Переваливал насыпь железной дороги — рельс почти не было видно, — соскальзывал вниз, приближался к плотине. Поверхность пруда была заброшена ветками — ветер сорвал их с берез, — и возле каждой из веток намело небольшой бархан снега. Хотелось быстрее укрыться от ветра в лесу, но до этого надо было еще перейти через поле. Начинался пологий подъем, лыжи «стреляли», и бежать приходилось с упором на руки.

Наконец, запаленный, ты врвался в осинник — шумным дыханием, скрипом лыж, стуком палок, — и в смущении останавливался. Наверху шумел ветер — а здесь, меж нелепых обледенелых стволов, было тихо. Синица тоненько пискнула, перепорхнула по веткам, осыпала снежную пыль. Вдалеке затрещала сорока — и снова сомкнулась вода тишины....

Отдышавшись, покатыл вглубь леса. Лыжня здесь была идеальной: ее льдистые желоба оказались присыпаны снежным пухом, и лыжи скользили с волшебною легкостью. Четкий диск солнца все так же просвечивал

сквозь молочную мглу — и еле заметные тени лежали на девственно чистой лыжне.

Вот еще разновидность дороги: лыжня. За всю жизнь ты не встретил и двух одинаковых. У каждой лыжни свой особенный нрав: в конце, например, ноября идешь больше по мерзлой траве, чем по снегу; а в начале апреля из-под лыж выплескивается вода. Лыжня то свистит, то шипит, то гремит, как железо на крыше. Она то сама увлекает тебя — не зевай только на поворотах! — то, хоть плачь, не дает сделать шагу...

Но сегодня лыжня — загляденье. Твое тело ритмично сгибалось и разгибалось: на одношажном ходу ты бежал с неплохой, почти гоночной, скоростью. Но хотелось бежать все быстрее. словно некая мысль не давала покоя — и ее, эту мысль, нужно было догнать. В скольльзящем, стремительном беге ты странно двоился, делился на тело — и душу. И руки, и ноги, и все напряженно летящее тело — это был уже как бы не ты; и, чем быстрее бежал, тем полней твое «я» уходило во что-то иное: в скольльзящий рассеянный взгляд, или в снежную пыль, или, может, во что-то еще... Ты забывал, где ты есть, что ты есть, — и порою мелькало предчувствие, что сейчас, вон за тем поворотом — ты встретишь себя самого...

Вылетал на широкую просеку и поворачивал вправо. Высоковольтные провода, провисая, тянулись в молочную даль. Лыжня здесь петляла по мелколесью, то спускалась в овражки, то вновь выбиралась на ветер. Басовито, как струны, гудели вверху провода. Пока ты бежал через лес, одиночество было большим; здесь оно стало — огромным. Вот вышел в поле, лыжня, заметенная вьюгой, пропала, и взгляду, скольльзящему по-над волнами снега, стало не во что упереться. И ты выключал почти бесполезное зрение — так водитель порой выключает ненужные фары, — и погружался в сомнамбулическое забытьё...

...С кем ты беседовал в глубине полусна — той порою, как тело твое пробиралось сквозь вьюгу? Это странно звучит, но беседовал ты — со своим одиночеством. Оно было, как спутник, как тот, кого можно спросить и услышать ответ. Некий внутренний диалог продолжался, хотя ты не знал, как зовут собеседника, и не знал, кто он есть: человек — или, может быть, пустота?

Над Калужкой, по склону, привольно стояли огромные сосны. Снег понабился в их темную, почти черную, зелень. Блестела обдугая вьюгой бронза стволов. Ветви качались под ветром, и занавеси снеговой пыли бесшумно и наископа падали то с одной, то с другой сосны.

Внизу, в чернолесье ольхи, бормотала река. В конце спуска лыжи так разгонялись, что ты с трудом отворачивал от дымящейся черной воды. Обвиснув на палках, долго стоял над перекатом. Беседа теперь продолжалась — с рекою. Вода была вся в морщинах и гребнях; казалось, что беспокойная мысль напрягает чело переката. Косноязычно и бурно река торопилась о чем-то сказать — перебивая саму же себя, облизывая черными языками обледенелые губы камней...

На обратном пути ветер дул в спину. Вьюга упорно тянула сквозь матовый день. Палки ломали, тревожили снег — белая пыль, обгоняя тебя, завивалась над настом. Все поле дымилось, и строгое, четкое солнце летело сквозь снежный туман...

Но главным содержанием моих юных лет были легкоатлетические тренировки. Спортивная школа, где я занимался, помещалась рядом с городским кладбищем. Район это старый, но неуютный. Телевышка, напротив — кирпичная красная башня, где теперь бюро похоронных услуг; вдоль улицы протянулась кладбищенская, в облупившейся штукатурке, стена. Надо всем этим местом царил — как бы лучше сказать? — дух безрадостной, неустроенной жизни — жизни, затаившей глухую обиду на что-то. Гул машин и бензиновый синий угар; грязь и лужи; хмельные потерянные мужики, бродящие возле «стекляшки»; вечные

сумерки, чувство сиротства — все это делало здешний район каким-то уж очень тоскливым.

И вот сюда я ходил ежедневно. Зачем судьба предложила мне именно это, на редкость унылое, место? Может, и был в этом смысл. Ведь тогда, в подростковые годы, я жил с острым чувством тоски и неясной вины. Здесь же, близ кладбища, эта тоска была как бы вывернута наизнанку: в атмосфере рабочих безрадостных улиц я встречал именно то, что было в душе у меня самого.

Спортзал всегда был наполнен гулкими звуками. Крики и топот, звяканье штанги, тугие удары мяча — все это, отталкиваясь от потолка и от стен, бесконечно летало по залу.

Наш тренер, Галина Петровна, обычно сидела на лавочке возле стены. Ее сухой профиль казался надменным и строгим, но, стоило ей повернуться — как ты совершенно терялся в лучащейся, грустно-насмешливой доброте ее взгляда. Лицо ее было таким изможденным — лицо настоящей бегуни, — что было неловко смотреть на него; но из глаз исходила живая и яркая сила.

Тренировки зимой проводились в зале; лишь изредка мы выходили на улицу. Но запомнились больше всего именно те вечерние ускорения вдоль кладбищенской низкой стены.

...Сегодня нас четверо. Пока мы разминаемся, вспомню своих со товарищей. Вот Юрка Хлебников: худой, по-кошачьи пластичный, бегущий так мягко, что шагов его и не слышно. Вот Юра Афонин, «Афоня»: он, напротив, нескладный, громко шлепающий ногами. И Борис: курчавый брюнет, невысокий и крепкий, по складу — классический спринтер.

Наше задание: ускорения десять по сто, по глубокому снегу. Бегаем на полосе между улицей и тротуаром. Отмеривать расстояние просто: промежуток между фонарными столбами равен тридцати трем метрам, и надо бежать как раз три пролета.

Первые три отрезка даются легко. Мы даже, на обратном пути, бросаем друг в друга снежками. Как тяжелые темные взмахи, проносятся мимо машины. Сыро, оттепель: вокруг фонарей мерцают радужные круги. Пахнет бензином. Стена кладбища невысока: если подпрыгнуть, то можно увидеть верхушки крестов и перекладины самых высоких из них.

Опять начинается ускорение. Снег кипит под ударами стоп. Воздух становится вязким, и тело все медленней, как через воду, прожигается через него. Стопы вихляются в мокром снегу — только инерция бега удерживает от падения. Шумно дыша, ты с трудом дожимаешь последние метры и переходишь на шаг. Возвращается молча: верный признак того, что устали.

Вот опять, обреченно вздохнув, кидаемся в бег. Бедра стремительно тяжелеют. Третий, заветный столб приближается медленно. Кажется, что бежишь не один — но словно тащишь с собою все сумерки: свет фонарей, мокрый снег, вязкий воздух. Наконец, добежав и закашлявшись, сплюнув горячей слюной на истоптанный снег, измученным взглядом ведешь по кладбищенской длинной стене...

Странным был этот бег: три пролета по снегу, вдоль кладбища. Этот путь никуда нас как будто не вел — с тупым, непонятым упорством мы пробегали все те же самые три пролета. Но, на самом-то деле, ускорения уводили нас далеко. Мы погружались все глубже — в усталость. В сущности, целью любого пути является истончение, изнурение плоти, добровольное издевательство над телесною нашею оболочкой, для того, чтобы сквозь нее проступила душа...

Беговая работа кончалась. Промокшие, грязные от ушей и до пят, но блаженные, мы возвращались в спортзал. Нас встречало тепло, яркий свет, голоса — и заботливый, чуть насмешливый тренерский взгляд.

— Ну что, всю работу подедали? — спрашивала Галина Петровна. — Не сачковали?

Но по нам и так было видно, что не сачковали. Финал тренировки, «заминка» — наклоны и висы, медлительный бег, — бывал так приятен, что не хотелось уходить из спортзала. Утомленное тело казалось особенно мягким, послушным — и блаженный покой наполнял размягченную душу.

Когда же ты выходил из спортзала — то с удивлением видел, что мир повернулся другой стороной. Где была та тоска, та унылость безрадостных улиц, что густо, как дым, здесь висела недавно? Теперь же ночной зимний город казался прекрасен — и ты с наслаждением брел по его тротуарам. Побывавший в глубинах усталости, ты очистился сам — и в какой-то таинственной связи очистился мир...

Удивительно нежным был воздух — сырой, ощутимо-весенний. Цепь фонарей, как гирлянда, висела над улицей: мерцающие радужные шары казались ворсистыми от световых переливов. Лоснился мокрый асфальт — а в черных провалах луж отражались желтые, красные окна домов. Даже машины — и те с нежным шорохом, мягко катили по улице, неся пред собою игольчатый свет золотистых качавшихся фар...

Любимейшей разновидностью тренировок были кроссы. Случалось бегать зимой, в темноте, по обочине Грабцевского шоссе, когда путь освещали лишь звезды, да фары изредка проезжавших машин; и берегом моря, по влажной, залитой волнами кромке песка, под вздохи прибойной волны, под шипение пены. Приходилось бежать то под ливнем, когда за шумящей, отвесной стеною воды пропадал окружающий лес; то под ветром, в холодные, ясные дни ноября, когда низкое солнце пронзало лучами оголившийся березняк, и рыжие мерзлые листья, как жестяные, гремели в ногах. Бегал по городу, под завыванье машин, и по селу, под собачий заливистый лай; бегал в морозы и в сорокаградусный зной; бегал с отцом — теперь бегаю с сыном...

Но сейчас, выбирая, какому из кроссов посвятить эту главку, вижу холмистую степь, волны ветра, бегущие по овсам; вижу изрубленные траками гусениц колеи — золото оброченной соломы сверкает на черноземе! — вижу, как марево тает, струится над степью... Мне посчастливилось бегать и там, где прошло мое раннее детство: в курских степях, у поселка с коротким названием Тим.

Мария Павловна, бабушка по отцу, к которой мы приезжали каждое лето, к тому времени сильно состарилась. Она ходила с трудом, вперевалку, плохо видела — но в те дни, когда приезжали гостить сын и внук, она с утра и до позднего вечера хлопотала на кухне. Вот и сейчас я словно слышу шкворчание сковородок, гудение примуса, чувствую запах паленой, недавно ощипанной курицы, и вижу, как бабушка, во фланелевом темно-красном халате, раскатывает скалкой тесто, вижу мучную пыль на морщинистой темной щеке... Ее любовь к сыну и внуку выражалась в стремлении непрерывно кормить нас; а настоящей трагедией для нее было то, что мы, по ее мнению, ели плохо. «Сварила борщ — не едят!» — жаловалась она соседке; хотя те, которые «не едят», в это самое время лежали и отдувались, объевшись.

Перед обедом, пока бабушка жарит, варит и парит, а отец сидит за бумагами — я собрался побегать. Вот я прохожу мимо стекол веранды — бабушка видит меня, улыбается, машет рукой, — отворяю калитку и сворачиваю направо. Отец, сдвинув белую занавеску, курит, задумавшись, у окна. «Побегать? Давай-давай», — напутствует он меня.

Поселковая улица — в пятнах света и тени. Гремя дегтяркой и порожними флягами, проезжает телега; пыльные куры, квочка, выбегают из-под колес. Жарко. Поселковые звуки — гудение грузовичка, завывание бензопилы, далекая музыка из репродуктора, — кажутся утомленными, сонными.

Дорога начинает спускаться с тимского холма. Жарким полынным ветром тянет из степи. Солнце плавит свинец запыленного неба, и, кажется, что раскаленные серые волны непрерывно стекают на линию горизонта.

Открываются вольные виды. Внизу, за мостом и за речкою Тим — крыши Выгорного, села, где я провел детство. Вон оттуда, с крыльца дома бабушки Марьи Денисовны, я часто смотрел на тимской холм, на дорогу, и ждал: не идет ли бабушка? Но она уже не придет: Марья Денисовна умерла во сне, рядом с кроваткою маленькой внучки, и теперь отдыхает от непосильных трудов на старом харьковском кладбище. Умер и прадед, Денис Максимович, тот, кто целыми днями сидел в палисаднике у завалинки дома. Старик прожил аж девяносто три года; а могила его — во-он там, на кладбищенском, пестром от синих оградок, холме.

Дорога, спускаясь, врезается в склон. Щетка полыни, тысячелистника и чабреца дрожит от горячего ветра. Что-то южное, древнее и родное есть в этой редкой траве, в пыльном мареве по-над склоном, в скудном и вечном покрове земли. Дорога уходит правее, на мост — а мне, перепрыгнув ручей, подниматься к оградкам кладбища. Могила прадеда нахожу не сразу: сильно все заросло. Но вот, наконец, жестяная, серебрянкой покрытая, пирамидка с маленьким крестиком наверху, и табличка «Попов Денис Максимович. 1878 — 1971». Думаю: «Вот это дед отхватил себе времечко! Четыре войны — из них две мировых, — три революции, голод, колхозы...»

Над кладбищем — звон кузнечиков, гул шмелей, трепетание бабочек и свистящие, частые взмахи летящего голубя. Все так спокойно и сонно, что хочется лечь на сухую траву и лежать долго, долго...

Раздвигая горячие листья сирени, петляя между могил, выбираюсь на старую, полузаброшенную дорогу. Вот развалины школы — остался фундамент и стены, — той школы, где учила покойная Марья Денисовна. Надо же: моя мама, русоволосая Ира Попова, вместе с младшей сестренкою Светой, когда-то ходила сюда, и склонялась над партой, и что-то писала на черной доске...

Но дорога уводит все дальше в поля, вглубь звенящего зноя. Начинаю бежать: пока еле-еле, трусцой, прислушиваясь к собственным стопам, коленям. Ноги вроде в порядке. Серая пыль мягко гасит шаги — как сухая вода, она выплескивается из-под ног. Дорога то чуть поднимается, то понижается — эти мерные волны укачивают, усыпляют.

Бежать тяжело, лишь пока не совпал с ритмом зноя. Надо почувствовать ту скорость бега, когда твои вдохи и выдохи попадут в такт волнам ветра и волнам дороги, в такт дремотному шороху бледных овсов. Когда же ты совпадешь со степным, мерно бьющимся, сердцем — бег продолжится сам по себе. Дорога сама понесет тебя в зыбкое марево, в сусличий свист, в тот особенный, перенасыщенный солнцем, сумрак полдневого зноя... Дорога ведет над глубоким оврагом — он зовется Солёный лог, — но кажется: это не просто овраг, а река, загустевший поток раскаленного воздуха. Смотри, как течет и колышется воздух оврага, как птица ныряет со склона на дно — и как там, словно камни, лежат серые туши уставших от зноя овец...

Ты бежишь берегом этой знойной реки. Что так шумит, так гудит у тебя в голове? Кровь ли твоя загустела от бега? Или, может быть, так шумит само время — той порою, как ты поднимаешься выше и выше, к истокам? В самом деле: ты словно бежишь вспять по времени, уходишь все дальше в свое — и не только свое, — позабытое прошлое. Недалом твой путь начинался могилою прадеда: оттуда дорога тебя повела в недра памяти рода. Бежал уж не ты, не подросток неполных пятнадцати лет — но бежала твоя родовая степная душа. Ей, душе степняка, был родным этот путь, эта пыль, это марево зноя...

Менялись века, и бесчисленно менялись тела проходивших, скакавших и ехавших этой дорогой людей — но они все несли одну суть, одну душу, и в ней, в ее сердцевине, одну благодарную сладкую боль, одно чувство негаснущей связи вот с этой светящейся черной землею... И бабушка шла, уморившись от зноя, гордо и грузно шагала по пыльной

обочине, и прадед тащил свой, ладонями вытертый до белизны, землемерский аршин, и прапрадед Максим (или, может, другой — Тимофей?) прогонял здесь свою коровенку, — а его дед или прадед, верховой, шедший крупной рысью, обернувшись, кнутом сбивал оводов с крупа рыжей, такой беспокойной и фыркавшей лошади; а совсем уж далекие предки, у которых, наверное, не было ни кола, ни двора, перегоняли здесь табуны и, прищурясь, смотрели сквозь пыль на красневшее низкое солнце... Они все несли одну душу — и она оживает во мне, когда, захмелевший от зноя, я долго бегу по полям. А душе степняка нужно, в сущности, только одно: чтобы вечно куда-то вела, не кончалась, пылила дорога...

IV

Все чаще мне снится молодость: наверное, потому, что пришла пора окончательно с ней расставаться. Если детство еще живет с нами, в нас — сначала благодаря нашим детям, потом нашим внукам — то молодость — именно молодость! — невозвратима.

Вот мне и снится Смоленск, и мелеющий Днепр, и громада собора, вокзал, привокзальная площадь, трамвай, что ползет по изгибам крутой, от моста поднимавшейся улицы, снятся парки и подворотни, кафе, магазины и бани — снится навеки единственный мир.

Вспоминаются и дороги тех лет. Все они проходили через общагу — перекресток, центр, узел той жизни, — а некоторые из дорог за пределы общаги и не выходили. Общага вся состояла из сложного переплетенья путей, переходов, — по которым, как в муравейнике, неустанно снова-ли десятки и сотни людей. Те пути начинались в глубоких, торжественных сумерках — в них же теряясь. Они нас проводили по дремлющим дебрям — и картины особенной, замершей, разлученной со временем жизни вставали пред нами. Это были, скорей, не дороги — они никуда не вели, — а ходы лабиринта, и в блужданье по этим ходам прошла моя юность.

Вот я, кажется, снова иду по огромному гулкому коридору — и слышу те звуки, которые, вместо пения птиц, наполняли дремучие кущи. Гитара звенит вдалеке; женский смех словно плещется в сумерках; на кухне шкворчат сковородки и льется вода; сливные бачки туалетов ведут свою партию баса; кровати ритмично, бесстыдно скрипят в полумраке при-тихнувших комнат...

Мы, дети восьмидесятых, были не просто потерянным поколением — мы были поколением бездорожья. Если вам приходилось на пешем ходу пересекать границы меж областями, то вы, верно, бывали не раз озадачены. Дорога, которой вы шли — хорошая, торная, в две колеи, — начинала вдруг чахнуть, слабеть. И вот уже не дорога, а тропка петляет меж кочками луга — потом пропадает и эта тропа, и растерянный путник не может понять: отчего же дорога, так бодро, уверенно уведившая за собой, вдруг исчезла, как будто ее не бывало? И только потом озаряет догадка: ты стоишь на ничейной, рубежной земле...

Вот и мы, молодые, оказались на рубеже, на великом изломе эпох — хотя сами об этом не знали. Но я чувствовал: все «становилось в недоумении, будто не знало, куда идти дальше. Прежний путь — «светлый путь», начинавшийся под орудийные залпы в семнадцатом, — из широкой дороги превратился в петлявшую тропку, а потом и она потерялась в болотах «застоя». Идти стало — некуда. И весь мир погрузился в глубокую дрему — а мы, как слепые котята, наощупь бродили по странным его закоулкам...

Воскресное утро: я иду в библиотеку. Большая Советская улица круто падает вниз, к Днепру. Слева висит циферблат знаменитых часов, переживших войну, ставших символом города. Но стрелки недвижны: на часах вечно без четверти три.

Городская библиотека — напротив часов. Я вхожу в вестибюль, раздеваюсь — с чувством, что отправляюсь в далекое путешествие. Недаром учетная желтая карточка с дырчатым краем, которую выдают всем входящим, так похожа на железнодорожный билет.

Начинается путешествие в зале каталогов. Вот я медленно прохожу вдоль картотеки, перебирая глазами таблички. Что взять почитать — куда же отправиться странствовать? Великое множество разных дорог привлекает меня. И я, молодой, был настолько наивен, что думал, будто смогу прошагать по ним всем — что не останется непрочитанных книг.

Из читальных залов — их здесь несколько — выбираю зал третьего этажа. Тут всегда тихо, отсюда приятно смотреть в окно — дворик, деревья, капель с водосточной трубы — и здесь не бывает знакомых: путешествовать лучше всего в одиночку. Сажусь у окна, раскрываю потрепанный том — сегодня это Булгаков, его знаменитый роман, — и вот уже исподволь, как отбывающий поезд, начинаю скользить вдоль и мимо реальности. Покинув границы привычного, погружаюсь в томительный зной, в полдень гудящей булгаковской прозы...

...Долго ли длилось то странствие? Трудно сказать: время покинуло мир. Но я устал от холмов, от сиреновой одури зноя, от смеси восторга и горя, которой наполнилось сердце. Излучение мощного текста всегда вызывает истому, полуболезненный жар — и хочется отдохнуть от видений. Кладу голову на руки — и засыпаю. Девушка-библиотекарь с улыбкою смотрит, как студент спит за столиком у окна. Смейтесь, милая девушка: я заснул — но я чувствую вашу улыбку...

Сон тоже был путешествием, сложным странствием внутри странствия. Как причудливо спутано время во сне: то, что было, что есть и что будет — явлено вместе, в едином ряду; жизнь начинается в будущем, а кончается в прошлом; причиной становится следствие, и начало венчает конец. Так же, как время, таинственно свиты реальность и вымысел. То, чего ты не знал и не видел — лицо прокуратора, легионеры, нищий сброд у подножия Лысой горы, и гроза, заходящая над Ершалаимом — делалось как бы твоим личным воспоминанием. А рядом с теми, библейскими, лицами — видишь товарищей по институту, седого ректора и вахтершу из общежития — одноглазая тетя Поля была двойником полководца Кутузова, — видишь тех, рядом с кем ты живешь в настоящем...

После сна шел слушать музыку. Это входило в программу воскресного дня — как еще одно путешествие. Зал фонотеки был маленьким, теплым, уютным. Люди сидели в наушниках, слушая каждый свое; но выражения отрешенных лиц были так похожи, словно все подключились к одному и тому же проигрывателю.

Чаще всего я слушал классический джаз времен Луи Армстронга. Когда большие ладони наушников обжимали виски — потухали все внешние звуки. И вот в тишине раздавались шаги контрабаса. Они были еще неуверенны, робки — кто-то брел, спотыкаясь и падая, и опять поднимаясь на мягкие лапы, — а затем тишину прорезал ослепительный голос трубы! Как луч света, упавший в прореху меж туч, труба озаряла тревожную тьму тишины. И контрабас, вдруг очнувшись, увидев, куда ему надо идти, шагал все быстрее, уверенней, тверже. Но атака трубы не могла длиться долго... Высокий и солнечный голос ее понижался, хрипел. И вновь контрабас одиноко, нетвердо шагал в темноте: растерянный, брошенный всеми, он горестно брел без дороги...

Джаз — это музыка бездорожья. У него, у бедняги, нет цели — есть лишь желанье куда-то идти, есть ужас неподвижности, тьмы, тишины. Джаз — это плач потерявшего путь человека; возможно, поэтому я так полюбил эти странствия в лабиринтах синкоп. Вот гудит саксофон, слышен застенчивый голос тромбона, рояль рассыпает зернистые трели, и банджо — огромный сверчок на горячей печи — точит напрягшийся воздух...

Уходил из библиотеки в сумерках, одуревший от чтения, музыки, мыслей. Путешествие продолжалось по улицам города. Шел быстро, как бы ластая глазами дома, переулки и подворотни. Город был книгой, которую можно было читать бесконечно. Нетерпение юности подгоняло меня. Шел вниз, к собору, потом по широкой, каскадами падавшей, лестнице спускался к мосту через Днепр — река маслянисто чернела под фонарями, — потом выходил на Колхозную шумную площадь, где всегда было много цыган. Здесь, в буфете общественной бани, выпивал бокал водянистого пива и после кратких раздумий направлялся к вокзалу.

Кирпичный куб кинотеатра «Красный партизан» проплывал мимо в сумерках. «Не зайти ли?» — думал я на ходу. Но индийский, слащаво-игрушечный фильм смотреть не хотелось. Зато хотелось скорее взойти на виадук, встать над разливом железнодорожных путей и смотреть, как огни семафоров, скользя, отражаются в рельсах, и как по запасным путям с перестуком ползут бесконечные ленты товарняков. Вокзальное здание с башенками по углам напоминало мавританский дворец — но я не спешил входить в его гулкую толчею. Я стоял над путями, над россыпью разноцветных огней — красных, синих, зеленых и белых — над сплетеньем подвесок и тросов, над сердитыми, улетающими в ночь, голосами диспетчеров. Что-то огромное переполняло меня. Это была то ли молодость, то ли любовь, то ли предчувствие скорой разлуки со всем этим странным, дремотно вздыхающим миром? Но помню, что там, в темноте над путями, над сложным мерцаньем огней и над встречным движеньем грохочущих поездов — я был счастлив. Я жадно вдыхал тот горячий, дымком и мазутом пропитанный воздух, напиток которым не смог бы за целую вечность...

Поразительно: все, что ты видел и слышал, казалось значительно больше того, чем являлось на самом-то деле. Любая ничтожная мелочь — урна с мусором, папиросный окуроч в грязи, облако пара над крышкочю люка, трещина на оконном стекле, куст герани за этим стеклом — все обречало объем, глубину. Как в романе, написанном гением, лишнего нет ничего, так и на улицах города, по которому ты бродил, как влюбленный лунатик, каждый предмет или человек что-то значил. Тетка с тяжелою сумкой, курсант с тонкой шеей в намокшей шинели, горящая надпись «Гастроном» — первая буква гудела, порой притухала, и надпись тогда обречала иной, звездный, смысл — это все были загадки, которые ты должен был разгадать.

Ты шагал и шагал, жадным взглядом перебирая прохожих, горящие окна, фасады домов, подворотни — и вдруг поворачивал в темный, чем-то тебя поманивший проулок. Оскользясь, шел меж сугробов по узкой тропе, распугивал кошек у мусорных баков, касался сырого забора, зачерпывал горсть крупнозернистого талого снега и растирал им горячечный лоб. Затем вновь выбирался на улицу, к тасованию людей и машин — и продолжал путешествие по живым лабиринтам Смоленска.

И даже когда, утомленный, к полуночи возвращался в общагу — воскресное путешествие как бы еще продолжалось. Покинув заснувшее тело, твоя молодая душа продолжала бродить по таинственным улицам, продолжала искать то неясное, властно манящее, что, конечно же, было найти невозможно — но без чего ты не смог бы прожить ни единой минуты...

А еще моя юность была путешествием по дорогам Эрота. Если по улице шла красивая девушка — это было огромным событием. Искажалось пространство: оно магнетически льнуло к её стройной фигурке. Замедлялось и время: поворот головы, взмах руки или вынос бедра совершались так медленно, что сердце мое успевало ударить раз пять или шесть, пока длилось то колдовское движенье.

Дороги лукавого бога, петляя и путаясь, порой заводили в дремучие дебри. Сколько сил, сколько жизни осталось на этих путях! Мир был наполнен какими-то вспышками из волшебных частей женских тел. Смуглые бедра, уходившие под качавшийся колокол юбки, прогиб поясницы,

волны груди в низком вырезе платья — этого было достаточно, чтобы взгляд мой мрачнел, и язык прилипал к пересохшему нёбу...

Как опьянение начинается даже не с первой выпитой рюмки, а с особого предощущения, предвкушения хмеля, так и предчувствие новой дороги Эрота начиналось за несколько дней до пути. Как-то томительно, трудно жилось — пока душа затевала поспешные сборы, готовилась к очередному походу. Начало влюбленности переживалось, как острое, накотившее вдруг, нездоровье. Я физически ощущал тошноту и знобящую, злую пустотность души. словно мутный горячий туман заволакивал взгляд...

Томительно-медленный танец нередко был первым этапом пути. За ресторана качался и плыл на слоистых волнах сигаретного дыма; музыка мяла пространство, как сдобное тесто; девушка — цель и смысла путешествия — была в те минуты одновременно и близко — рукою ты чувствовал, как расходятся ее ребра на вдохе! — но и мучительно далеко от тебя. Весь мир становился чужим: казалось, ты в нем заблудился. Качались ряды ресторанных столиков, качалась эстрада с тремя музыкантами, и официантки, как крупные белые рыбы, сновали меж пьяных столов. А ты искал выхода, смутно чувствуя, что он где-то рядом: в податливой гибкости теплого тела, вот в этой щеке с прядью темных волос, в дыхании, взгляде — в загадке танцующей девушки...

Потом была ночь, и ночной засыпающий город — и проводы до общежития или квартиры. Почему-то считалось — или я просто вбил это в голову? — что кавалер, провожающий даму, должен с ней непрерывно болтать. Я и так-то не мастер плести словеса; но тогда, рядом с красивой спутницей, я то молчал, как статуя, то начинал нести околесицу. Еще хорошо, что мои собеседницы бывали то снисходительны, то глуповаты — и вспышки болтливости на фоне гробового молчания как-то сходили мне с рук.

Возвращался бегом. Я не мог идти шагом: надо было унять, успокоить волнение крови. Топая, шумно дыша, я распугивал редких собак и прохожих. Ночной, с холодком и с бензиновым запахом воздух был для меня, как холодный компресс на горячем лбу. Я бежал, и как будто пытался спастись от себя самого. Я хотел обменять напряженно-тревожное одиночество — на бездумно-пустую дремоту, безмолвие, женщину, ночь... На пустых перекрестках мигали глаза светофоров; длинные стекла витрин отражали бегущее тело. Оно проносилось над пирамидами рыбных консервов, рядами бутылок, над волнами тканей и над тупыми, счастливыми лицами манекенов. Как хорошо было быть манекеном — и как было трудно быть мной, молодым!

Дороги Эрота порой заводили на старое кладбище: по ночам в центре города только здесь можно было уединиться с девушкой — если, конечно, спутница была не из пугливых.

Входили, как в лес, как в дремучую чащу — в сплетенье оград и ветвей, в паутину теней, оплетавших кладбищенский мир. Нас, пробиравшихся в лабиринте оград, крутило, как щепки в водовороте: то водило кругами, то разносило, то вновь прижимало друг к другу.

Наконец, на какой-нибудь старой могиле — ее холм был уже почти незаметен — среди веток сирени, крестов и надгробий, свершалось то, к чему вел нас извилистый путь. Описать это трудно, да вряд ли и нужно. В такие минуты горячий туман застилает глаза — и в этом тумане мелькает плечо или колено, незрячий белеющий контур лица или всплеск запрокинутой кверху руки... Вдруг предательски скрипнет ограда; вдалеке, за чащобой листвы, прозвучат голоса, или проедет машина — но горячий туман, наплывая, погасит случайные эти, такие ненужные звуки...

Когда же все завершалось — ты был, кажется, более мертв, чем могилы. Такой бесконечной, бездонной тоски, как тоска после близости

с женщиной, ты доселе еще не испытывал. Как будто незримая злая рука вдруг скомкала тебя, и отжала последние соки — а потом отшвырнула, как мусор. Не случайно дороги Эрота вели нас на кладбище: этот путь был воистину смертным путем. Он вел — в никуда. Он обманывал нас, этот маленький бог, он нас влек на серебряных нитях желания — как ведут на убой бестолковых телят.

Всего же диковинней было то, как мы оживали. Только что ты бессмысленным взором водил по оградкам, только что ты не мог разобраться: где же ты, что с тобой и что делать дальше? — только что ты был пуст, как сама пустота. Но спустя минут двадцать опять просыпалось желание. Как прилив поднимает рыбацкие лодки, лежащие в иле, на грязной мели, так и воды желания, вновь прибывая, опять поднимали тебя.

И ты уже снова готов был идти на неясный призыв, ты опять начинал тот бессмысленный путь, снова брел — в никуда...

Душа ощущала свою незаполненность, неутоленность. И именно это знобящее чувство, порой нараставшее до болезненной силы, понуждало опять отправляться в дорогу. Это было сродни голоду; только справиться с ним было гораздо сложнее. Тут не хватало тарелки борща или каши; только сам путь, только сложное блюдо, состоявшее из пространства и времени, и с приправой усталости — зрительной, мышечной, слуховой — могло, да и то на недолгое время, утолить неумную жажду дороги.

Но чего не хватало душе? Пытаясь назвать, обозначить неназываемое, я, наконец, выбрал странный ответ. Душе не хватало — души. Двадцатилетнему юноше не хватало — себя самого. Он был еще слишком пуст, неоформлен, ему не хватало того ощущения «я», без которого личность не может существовать. Осознать же себя было можно, лишь двигаясь в мире — лишь обточив свое «я» о дороги пространства и жизни. Все путешествия начинались с болезненно-острого чувства, что мне самого себя мало, что надо отправиться в путь — для того, чтобы в долгом усилии странствия утолить тот мистический голод, заполнить порожнюю душу. Уходя от себя, я стремился к себе же — но только к такому, который способен уже никуда не идти.

Но поскольку этот метафизический голод по ощущенью был близок голоду обыкновенному, и было непросто отличить одно от другого — я в своих путешествиях постоянно заботился о насыщении чрева. И едва ли не главным во всех моих юных блужданиях было посещение забегаловок, станционных буфетов, рабочих столовок — тех мест, где таинственный голод души отчасти мог быть утолен насыщением тела.

В те глухие имперские годы кормили, по сути, бесплатно: полтинника было достаточно, чтобы наесться до обморока. А уж если имел ты пятерку в кармане, то странствие в райских садах «Общепита» могло продолжаться почти бесконечно.

Первой станцией на этом пути была столовая общежития. Открывалась она в семь утра; за тринадцать копеек ты получал, например, тарелку рисовой каши, стакан сладкого чая и кусок хлеба. В гулком зале столовой еще было пусто: только несколько самых прилежных студентов, поднявшихся к книгам ни свет, ни заря, уныло жевали и поправляли очки. А я, беспокойный ходок, разделял с ними раннюю трапезу.

Выйдя на улицу, еще чувствовал, как плотный ком каши греет желудок. Хорошо, когда выдавалась «собачья» погода — ветер, мга, сырой холод — потому что в ненастье пристани «Общепита» бывали особо желанны. Пять минут, как ты встал от стола — но уже прикидывал; где бы попить кофейку? Пройдя вдоль по улице Крупской, как раз в восемь часов подходил к магазину «Продукты», только что распахнувшему двери. Продавщицы еще надевали халаты, грузчики заносили лотки с упоительно пахнущим хлебом, кассирши вставляли бумажные ленты в свои аппараты — а ты уже пил мутноватую рыжую взвесь под названием «черный кофе». Пойло, конечно же, это было ужасное — но степень твоей любви ко всему была так велика, что даже и этот напиток ты вкушал с наслаждением.

Пил «вприглядку»: созерцая сквозь стекла витрины туманную улицу, проплывавшие мимо трамваи, деревья и редких прохожих.

Похмельный, тоскливо вздыхающий грузчик просил тебя: «Слышь, браток, пособи!» — и ты помогал ему перенести за прилавок два ящика с пивом, счастливый своею причастностью к миру, который ты все сильнее любил.

Погода была замечательной: сеял мелкий невидимый дождь, руки зябли, на ветках деревьев и на проводах висели тяжелые капли. Трамваи то обгоняли тебя, то с натугой взбирались навстречу. Впереди показался чугунный Кутузов: казалось, сутулому старику тяжела непогода. Вот и мост через Днепр. Река в оголившихся берегах, уже с первым ледком по затонам, была черной, шершавой от ветра. На середине моста оставался и смотрел вверх по склону: на крыши, собор и на красную ленту старинной стены. Пасмурно-низкое небо было Смоленску к лицу: суровая древняя сущность солдата отчетливой проступала в насупленном облике города.

За мостом — Колхозная площадь и рынок. Тебе нравилось гулкое многолюдье, лица торговков, пучки зелени на столах, скользкий пол, дыры стоков, забитые капустными листьями, нравились жирные голуби, перелетавшие под крышею павильона. Рынок, как это ни странно, позволял углубиться в себя. Я смотрел в лица старушек, торговавших солеными огурцами, в опрятные строгие лица молочниц, в надменные краснощечные физиономии мужиков из мясного ряда, и в смущенные лица торговков семечками — мол, что за детский у нас, несерьезный товар! — смотрел на цыганок, в их равнодушно-насмешливые глаза — со странным чувством, будто я смотрю в зеркало. Я понимал нечто общее, что нас роднило, и в то же время осознавал бесконечную разницу между собой и любимым другим человеком. «То есть ты» — «тат твам аси» — великую древнюю истину кто-то нашептывал мне; но в то же время я различал иной голос, печально вещавший о моем одиночестве в мире. Душа напрягалась — пытаюсь вместить обе истины.

И снова ты чувствовал голод — упорный, таинственный голод пути. Дождавшись трамвая — гремящего, красного, номер один, — ты ехал к любимому месту, к вокзалу.

Над переплетением рельс всегда тянул ветер. Он горчил, оставляя во рту привкус угольной гари — а в душе возбуждал неумную жажду дороги. Голос диспетчеров выдвигались из переговорных трубок, как гулкие пузыри, и летели над рельсами — разбиваясь о товарняки, что стояли вдали, на запасных путях.

Трогался калининградский «Янтарь». Подвижка вагонов была в первый миг незаметна — и только легчайшее головокружение говорило о ней. Взгляд, не желавший расстаться с блондинкой вон в том окне, потянулся за нею, напрягся — но отъезжающий поезд легко оборвал мимолетную связь. Вагоны катились быстрее, колеса стучали все громче. Окна сливались в единую ленту, и сквозь вагон-ресторан показались недвижимый московский на третьем пути. Нарастающий гул окружал разгонившийся поезд. Вдруг состав словно обрезали — взвихренный движением мусор взлетел и упал за последним вагоном...

Товарняки трогались по-другому. Их обычно толкали, а не тянули — и костяной перестук буферов пробегал вдоль состава, как бы нанизывая на себя ожерелье из полусотни вагонов. Состав дергался раз, другой — вагоны скрипели, колеса визжали, что-то капало из промасленных шлангов. Товарняк тяжело, с ревматическим хрустом, с одышкой шагал, и чугунные рельсы прогибались под ним. Состав катил все быстрее — и вся непомерная, страшная тяжесть его убывала по мере того, как он наращивал ход...

Но пора уже было поесть. На вокзале, кроме буфета и ресторана, на каждом из двух главных перронов было еще по небольшому кафе —

для того, чтоб транзитные пассажиры могли наскоро перекусить. В этих стекляшках провел я немало часов.

— Что у вас есть? — спрашивал я у буфетчицы.

— Борщ и гуляш, — был суровый ответ.

Борщ и гуляш! Что еще нужно бледному юноше с блеском любви и тревоги в глазах? Взяв тарелку, стряхнув с нее воду, могучая рыжая тетка бросала туда ломтик вареного сала, каплю сметаны — а потом, взболтав гущу в огромной кастрюле, зачерпывала огненной смеси. И вот уж тарелка поплыла на столик к окну — и облако пара, клубясь, полетело за нею.

Возвращался к буфетчице за гуляшом. На тарелку с клеймом «Общепит» стряхивалась клякса картофельного пюре — ребром ложки гарниру придавался волнистый рельеф, — потом скупно подкладывалось несколько жилистых ломтиков мяса, и это все затоплялось подливой ржавого цвета.

— Сколько хлеба? — грозно спрашивала буфетчица.

— Четыре...

Отделив толстыми пальцами четыре кусочка, бросив их на тарелку, великанша объявляла итог:

— Пятьдесят шесть копеек!

...Спасибо тебе, забегаловка, и тебе, необъятная рыжая тетка, спасибо столам и тарелкам, стаканам и стульям, и мокрым картонным листам под ногами, солонке с комком серой соли, испарине на стекле, спасибо дверной богатырской пружине, спасибо и вам, алкаши-трясуны, и вам, суетливые пассажиры-транзитники, спасибо цыганкам, вихлявшимся между столов, спасибо красавице в светлой дубленке, скользнувшей капризно-рассеянным взглядом по мне, по витрине — и вышедшей вновь на перрон... Спасибо, страна, за густое тепло «Общепита»...

Тогда, в юности, я все время куда-то шел — и что-то все время искал. Жажда ходьбы не стихала; предложи мне тогда: «Пошли пешком в Африку!» — я бы пошел.

Но в Африку нас не пускали. Мир, в котором нам смолоду так уютно жилось — остановленный мир грандиозной, жестокой и нежной эпохи — он не мог выносить никакого движения. Поэтому так были плохи дороги, и так фантастически много заборов, оград, турникетов, закрытых ворот и дверей было в том мире. Движение — неважно, какое — было злейшим врагом, оно не давало эпохе досмотреть свои сладкие сны. Оно нарушало все связи, рвало перемычки, ограды — и множило хаос.

И вот странная мысль посещает меня. Кажется: в том крушении прежнего мира, что свершилось на наших глазах — виноваты не только глубинные силы истории или промысел Божий, но виноват и я сам, виновата моя неумная жажда дороги.

Нет, я пока что не сумасшедший, и далек от того, чтобы себе приписать ту заслугу — или полностью взять на себя ту вину. Но связь «я — и мир» обоюдно активна: лично я виноват и во всем, что случилось. Назойливый стук моих юных шагов раздражал окружающий мир, не давал ему погрузиться на дно нескончаемой дремы. Бывает, ничтожная муха зудит и мешает спать буйволу; так вот и я, тяготясь неподвижностью мира, неустанно ходил по дорогам, и тем протыкал тот потертый имперский брезент, которым незримые силы когда-то давно зачехлили реальность...

Вспоминается символический эпизод. Весною, в начале марта, желание уйти прочь из города делалось неодолимым. И я подговорил своего приятеля Диму Прудникова один из воскресных дней посвятить путешествию. «А поедем в Колодню!» — предложил долговязый Дима.

Как упоительно пахли скамьи закопченного, мартовским солнцем нагретого дизеля! Даже сквозь грязные окна вагона больно было смотреть на сиявшее солнце. Железнодорожная весна, как известно,

начинается недели на две раньше обыкновенной. Вот и сейчас черный промасленный снег меж путями таял, словно на сковородке, все капало, влажно сочилось, из шпал проступала вода, и зеленые крыши вагонов парили...

Скоро дизель покинул пределы Смоленска и плыл по холмистым полям. Слепящая длинная полоса — отражение солнца — бежала за нами по насту. Вот мы миновали замерзшую речку, и дизель притормозил у полустанка.

— Выходим! — поднялся Прудников.

Тут не было даже перрона: мы спрыгнули на заснеженный склон. В глазах потемнело от снежного блеска. Мы стояли на насыпи, посреди слюдяных зеркал наста.

— Смоленск во-он там, за холмом, — показал, шурясь, Дима.

— Ну и пошли туда.

— Напрямик, без дороги?

— А что нам дорога? Наст, кажется, держит...

И мы пошагали. Вовек не забыть переход по увалам полей, под синим сочащимся небом. Наст держал не везде. На северных склонах шагалось легко; но на южных, где снег уже подрамяк — наст проседал под ногами. Стоило наступить на зеркальную хрусткую корку — как широкий, метра три на три, пласт снега с шорохом оседал, разбиваясь о землю! Становились видны иглы бурой стерни и кротовины. Мы шли, словно два ледокола: за нами тянулась широкая полоса раскрошенного наста.

Минут через сорок ходьбы остановились у темной скирды полусгнившей соломы. Здесь, в безветрии, было по-настоящему жарко. Пахло хлебом и прелью, оттаявшей мокрой землей, тянуло дымком от недалекой деревни. Дима развязал рюкзачок и достал шматок сала и хлеб. Сало было очень соленным, и мы, зачерпнув по пригоршне зернистого снега, хрустели им, как сухарями — смывая соленое жженье во рту.

А потом опять пошагали. Крошево снега шипело в ногах. Глазам было больно от света. Даже снег временами из белого делался черным — и черно-зеленые полосы плыли по синему небу.

А наст все крошился, хрустел, оседал. Ослепленные солнцем, мы шли напрямик, без дороги, ломая размякшую корку имперского наста. Не в тот ли поход мы нарушили равновесие хрупкого мира?

V

Удивительно все же прожить тридцать лет — почти всю свою жизнь — в одном месте. Вот этой дорогой, которой ежедневно хожу на работу, я проходил тысячи раз.

Первое, что я вижу, выходя из подъезда — деревья. То черные их силуэты во тьме января, то влажную зелень июня, то сентябрьское золото лип и огромного клена. Затем вижу небо: отсюда открыта восточная часть. Зимой его тьма лишь немного разбавлена светом аэропорта; в октябре и апреле любуюсь восходом; летом же в небе царит настоящий, давно укрепившийся день.

За домом — развалины детского сада. Руины почти что сравнялись с землей: местные жители по кирпичу разобрали стены. Но земля и деревья помнят меня, пятилетнего. Мне тоже нетрудно припомнить, как я там бродил, как высокий зеленый забор отделял от меня, как казалось, то главное, без чего нельзя жить. А что это было — не знаю. То, к чему я стремился, все отдалялось: так от путника удаляется линия горизонта — но он продолжает шагать, не сводя с нее глаз...

Но идем дальше. На территории психбольницы по утрам многолюдно. Сестры спешат на дневную смену, врачи — на планерку; больные в синих казенных пижамах несут горячие ведра от пищеблока. Зимой на заснеженных тропах краснеют пятна от пролитого борща. Когда идешь мимо психиатрических корпусов, видишь бледные лица за частыми

переплетами окон. Кажется, что больные сейчас отдыхают от измучившей их за долгую ночь работы безумия.

Вот широко развернулась панорама Калуги. Ближе — россыпь окраинных частных домов, сады и заборы; вдали — трубы, градирни и серые глыбы многоэтажек. Бывает, что голуби кружат в розовеющем небе: когда плотно сбитая стая делает разворот, крылья птиц разом вспыхивают в лучах солнца.

Поднимаясь из полусасыпанного оврага, дорога подходит к дому для престарелых. За оградой, под кленами, шаркают старики. Интересен подбор скульптур в этом старческом парке: бюст нахмуренного Дзержинского, сидящий на лавочке Максим Горький и гипсовые медвежата.

Дом престарелых — это что-то навроде детского сада, только на другом конце жизни. И думаешь: вот она, жизнь, вся, как на ладони — от детских кроваток до старческих этих скамеек. Та же беспомощность и беззащитность, и та же ограда, это в самом начале; и то же горькое чувство, что главная, настоящая жизнь идет там, за забором. Как все началось за прутьями детской кроватки, так оно и кончается под охраной решетки, которая скоро сожмется в кладбищенский тесный прямоугольник. Дороги, конечно, пытались тебя увести, спасти, выволотить; но прорыв не удался — похоже, ты носишь с собой все ограды и расстанешься с ними не раньше, чем с телом.

Однако, не будем лукавить, созерцание этого парка теней рождает и чувство глубинного облегчения. Ты вдруг видишь то место, где ты, наконец, отдохнешь. От всей необъятной реальности там останутся листья на мокром асфальте, голуби возле гипсовой урны, да пара собственных войлочных черных ботинок. Но и это все будет видеться мутно, сквозь туман катаракты. Зато — в это хочется верить, — душу мало-помалу отпустит забота, отпустит великая тягота под названием «жизнь»...

Что за магия есть в этой смутно-расплывчатой мысли, обозначить которую можно словами: «жизнь позади»? Счастье, насколько возможно оно для меня, включает в себя непременно условием это вот самое «жизнь позади»... Может, и вправду жизнь есть дорога, которую обязательно нужно пройти, чтоб затем получить долгожданный покой, долгожданное счастье, счастье — в божественной вечности?

Однако, я шел на работу. Освеженный троллейбусной давкой, схожу на конечной. Вот Циолковский стоит, подпирая ракету, вон проститутки, зевая, идут от гостиницы — надо ж поспать, отдохнуть перед новой сменой, — вон рыбаки, укутанные, словно трехлетние дети, широко ставя ноги в ватных штанах, направляются в сторону водохранилища. Перебежав через улицу — машины несутся, как бешеные! — шагаю к больнице.

Эта часть города — бывший Загородный сад, где в губернаторском флигеле жил Гоголь, гостя у Смирновой, и музей космонавтики с его серебряным куполом, и просторные виды на бор — место, особое для меня. Дело в том, что впервые, еще пятилетним, я увидел Калугу именно здесь — и сюда же вернулся работать, уже молодым врачом, спустя двадцать лет. И здесь меня посещает чувство округлости, цельности жизни.

Уже тогда, в раннем детстве, я чувствовал: место, куда отец с мамой привели меня под напористым ливнем — особое место. Мы сначала карабкались в гору по глинистой мокрой тропе, потом, торопясь, прошли парком, под старыми липами — и вбежали, уже все промокшие, в стеклянную дверь магазина. И вдруг отщелкнули, словно костяшки на счетах, тридцать стремительных лет — и я снова стою перед этой же самой витриной и вижу сквозь мокрые стекла, как водяной дым обложного летнего ливня плывет над асфальтом... Кажется: я тот же самый — вот только бутылка пива вместо стакана сока в руке, — я вдруг совпал сам с собой, пятилетним, и почувствовал радость от этого. Так бывает, когда после долгих раздумий находишь решение сложной задачи. Линия

жизни, вивясь по туманному полю судьбы, неожиданно влилась в самую же себя, вдруг совпала с собой — и то, что казалось бессмысленными каракулями, превратилось в продуманный, сложный узор...

Рабочий день начинается с обхода больных. Сестра идет рядом, несет полотенце и папки с историями болезней. Пейзажи больницы не радуют глаз ни разнообразием, ни красотой. Кровати, тумбочки со стаканами и бутылками минеральной воды, стопки старых газет, голые стены, дренажные трубки, свисающие из-под одеял... Здесь как в пустыне — на голой, сожженной страданием земле.

Больные, один за другим, задирают рубахи, сдвигают штаны — и видно, как люди стыдятся того, что у них есть тело. Гримаса испуга, смущения пробегает по лицам в момент обнажения чресел и животов. Только молоденькие девицы не стесняются заглядываться: они высоко задирают свои рубашонки и смотрят, моргая, порочно-невинными глазками.

Вообще, есть огромная разница между палатами женскими и мужскими. В женских сам воздух какой-то домашний, жилой — и заходишь сюда, словно в гости к хорошим знакомым. Женщины продолжают жить даже в этих трагических стенах, и согревать своим женским теплом бесприютность больницы.

А в мужскую палату заходишь, как в тюремную камеру. Здесь не живут — только терпят. В больнице особенно видно: мужик — сирота, он чужой этой жизни...

Совершая обход, всегда чувствуешь некий сквозняк, упорно тянущий через палаты. Иногда он бывает реальным — тогда дребезжат оконные стекла и хлопают двери, — но чаще знобящее, то ощущение зарождается где-то в душе. Больные лежат и растерянно шарят руками по животам, как бы пытаясь смахнуть надоевшую боль, а тебе кажется: это незримый сквозняк опрокинул их навзничь, сорвал все одежды — и скоро, быть может, подхватит измученные тела... Ветер иных, недоступных живому, пространств проносится через палаты. В обычной-то жизни мы, худо-бедно, прикрыты — одежда, жилище, привычки досуга создают скорлупу, в которой мы прячемся от жестокого ветра, — но болезнь сокрушает непрочную эту защиту.

В отделении реанимации, на шестом этаже, те незримые сквозняки достигают особенной силы. Потому и не хочется подниматься туда — потому-то с таким напряженьем проходишь по гулким залам реанимации. Здесь, опутанные трубками и проводами, лежат почти неживые тела. Ритмично гудят аппараты, пищат мониторы: как будто мы слышим морзянку «оттуда», как будто идут непрерывные переговоры об условиях сдачи — или, может быть, об отсрочке капитуляции.

Потолки высоки, стены раздвинуты здесь широко — зачем столько места на одного, неподвижно лежащего, человека? Кажется: это место для отлетающих душ. Чтоб они оглянулись, и вспомнили, и пожалели — и, быть может, вернулись в покинутые тела. Чтобы ангелы, тихо летая меж ламп, проводов, огибая торчащие стойки для капельниц, могли бы, успели б шепнуть отлетающим душам: «Постой, не спеши, еще сроки не вышли...»

На суточное дежурство собираешься, как в поход. «Все ли взял?» — думаешь, роясь в сумке. Так, пачка чая — первейшее дело! — теплый свитер и шерстяные носки, постиранный операционный костюм, горсть конфет-карамелек, старый номер «Нового мира» — вдруг будет время его полистать? — да еще не забыть облатку с таблетками анальгина: что-то последнее время, когда устаю, начинает болеть голова. Ну вот, все уложено, как в настоящем походе: лекарства, одежда, чай-сахар.

В ординаторской первым делом переодеваюсь. И, как в путешествии, едва продев руки в рюкзачные лямки, начинаешь жить в особенном ритме похода, так и сейчас, одевая больничные эти штаны и рубаху,

попадаешь в пространство с иным, напряженно-стремительным ритмом — переходишь в тревожное поле дежурной больницы.

— Доктор, в приемное! — кричит сестра в приоткрытую дверь ординаторской.

Выхожу, на ходу застегивая халат. Сбегаю по лестнице — поутру-то я быстрый! — и с досадою вижу, что в коридоре приемного отделения много народу. Правда, не все здесь больные — много родственников, — но все же троих посмотреть приходится. Одного, без сомнения, надо оставить: он стонет и корчится от сильнейших, ничем не снимаемых, болей. Другую, девчонку с лукавыми глазками, отправляю на осмотр к гинекологу. А вот третьего, вижу, сюда завезли по ошибке. Он стоит, словно кол проглотил, шевельнуться боится: при каждом движении охает и хватается за поясницу. Тут, конечно же, люмбаalgия — вот и анализы совершенно нормальные — ему надо к невропатологам.

— Вот этому, как его... Мишину — вызывайте-ка перевозку.

Первую партию пациентов, как у нас говорят, «раскидали». Теперь снова наверх, в отделение: время обхода. Дело это привычное, но непростое. Приходится посмотреть три десятка больных — а среди них есть и тяжелые, и непонятные, поступившие прошлого ночью, — поэтому около часа уходит на то, чтобы более-менее разобраться со всеми.

После обхода хотел выпить чаю — но снова позвали в приемное. Спускаюсь: внизу никого. Заглядываю в комнату к сестрам:

— Девчат, чего звали?

— Ой, доктор, не уходите — он, кажется, в туалете...

Тут раздается не то рык, не то стон: по коридору, опираясь о стену, движется громадного роста старик.

— Что случилось, отец?

— Помираю, сынок, — басит великан. — Всю ночь мучаюсь, воду слить не могу...

От старика ощутимо несет перегаром.

— Праздновал, что ли, вчера?

— Было дело, сынок, было дело. Да я и сегодня «соточку» принял: вдруг, думаю, полегчает? Ни хрена! Раздуло, как бабу на шестом месяце...

Он едва помещается на кушетке. Об красное, в синих прожилках лицо можно, кажется, зажигать спички. На груди, как положено, Сталин — и женский расплывшийся профиль.

— Терпи, дед!

Он зажмуривается, глухо рычит и с хрустом сжимает громадные кулаки.

— Ну, теперь будет легче.

Понемногу глаза старика раскрываются, и расправляются складки на багровом лице.

— Так что: я еще поживу?

— Поживешь...

Ложиться в больницу старик наотрез отказался.

— Боюсь, доктор: залечат. А так-то, глядишь, еще похожу...

Вернувшись в отделение, минут сорок вожусь в перевязочной: на прошлой, неделе мы много наперировали. Потом поднимаюсь в реанимацию: посмотреть, как там тот паренек, которому ночью, после автомобильной аварии, удалили почку.

На шестом этаже непривычно пустынно и тихо. Двое умерли утром, кого-то перевели вниз, в отделения — в реанимации осталось всего пять человек. Наш паренек вроде в порядке. Бледный, конечно — была большая кровопотеря — но опасений он не вызывал. Мальчик похож был на Купидона: сложен девически-стройно, с кудрями до плеч, с нежным — хоть и в кровоподтеках — лицом. То-то и сестры над ним хлопотали, словно бабочки над цветком.

— Люба! — кричала одна. — Иди-ка, поможешь а м у р ч и к а перевязать.

Незаметно подошло время обеда. Вообще-то, врачам на дежурствах не положено есть из больничного, такого скудного ныне, котла. Но еда все равно остается: мало кого привлекает нищенский суп и унылые серые макароны. А мы ребята не избалованные, рады и этому.

Теперь бы прилечь на полчаса — на раздрыганным, виды выдавшем, диване. Слышно, как в коридоре ходят и разговаривают больные; вот загремели железные двери и загудел, поднимаясь, лифт; завывли и смолкли водопроводные трубы. Если закрыть глаза, эти звуки начинают причудливо смешиваться. Ты еще воспринимаешь реальность, но она уже так искажена, что не можешь понять: где же ты? Как бы качаешься между явью и сном... Но слышно, как в коридоре звонит телефон, потом раздаются шаги медсестры — и еще раньше, чем она стукнет в дверь, начинаешь садиться.

— Доктор, гинекологи просят подняться в операционную.

Ах, чтоб их! Обратный насильственный ход из дремоты в действительность так тяжел, что хочется застонать от тоски и обиды. Обуваешься, пять-шесть секунд тупо глядишь пред собою — и не можешь отделаться от забытого, детского чувства пронзительной жалости к себе самому...

В операционной окна завешены простынями — чтоб солнце не било в глаза, — но блики от кафельных стен делают сумрак светящимся. На столе под горящею лампой лежит юная женщина, бледная, как простыня. Ее обнаженное тело казалось бы мертвым — если бы грудь не вздымалась в такт мерным вздохам наркозного аппарата. Народу вокруг суется много: льют струйно, в две вены.

— Что, кровопотеря большая?

— Да, давление почти по нулям.

Пока моюсь, гинеколог уже начала операцию. Инна работает быстро. Перчатки, как всегда, ей велики — но она сноровисто хватает зажимы и вяжет. Когда подхожу к столу, разрез уже сделан, и мне остается только растягивать рану. Под брюшиной видна темная кровь.

— Готовьте реинфузию!

Обычным половником, почерневшим от стерилизаций, Инна черпает кровь и сливает, через салфетку, в стеклянную банку. Почти литр удаётся собрать для обратного переливания. Теперь ищем, откуда кровит. Вот она, разорвавшаяся маточная труба.

— Как давление?

— Шестьдесят.

Отсечь трубу и прикрыть культю складкой брюшины — дело несложное.

— Сколько ей лет-то?

— Шестнадцать.

— Зашивать косметическим будешь?

— Да нет, — куда там. Ей живой бы остаться — не до красоты...

Перед тем, как уйти, еще раз смотрю на больную. Она порозовела, и уже нет того жуткого впечатления, что видишь это мраморно-белое тело как будто в прозекторской, на столе с желобками. Что ж: Бог даст, и поправится...

В приемном меня уже ждут. Бритый парень в кожаной куртке, с выражением страха и недоумения на лице, идет в смотровой кабинет, широко ставя ноги.

— Да-а, землячок... И давно ты болеешь?

— Второй день. Доктор, а что — обязательно отрезать? — в его голосе дрожит ужас.

— Да нет, — улыбаюсь, — сначала полечим.

Пока описываю парня — перо машинально бежит по бумаге — «Скорая» привозит еще одного. Врач линейной бригады испуганно начинает мне объяснять:

— Понимаете, у него такой отек мошонки — страшно смотреть!

Но по виноватому выражению глаз молоденькой докторши чувствую: что-то не то. Под руки вводят синюшного деда. На расстоянии слышно, как он хрипит. Лечь ему трудно: он задыхается. Пальцы сосисками, ноги как тумбы; в глазах — тоска человека, уже уставшего умирать.

— Вы не по адресу прибыли, — говорю молодой докторице.

— У него же сердечная декомпенсация. Везите скорей в терапию.

— Ой, правда? — девушка покраснела. — Вы только запись в талоне оставьте, пожалуйста. А я, правда, такого не видела никогда.

— Еще посмотритесь...

Шесть часов — время делать вечерний обход. Он проходит быстрее, чем утренний: смотрю лишь тяжелых, да тех, кто только что поступил. Поступившие были в порядке, а вот женщину в пятой палате во время обхода вдруг зазнобило. Тяжелое зрелище: страх в глазах, пересохшие бледные губы, стук зубов и кровать, ходящая ходуном... Накрыли больную двумя одеялами — она вроде чуть успокоилась. Теперь узнать главное: какое давление — и какая температура? Померили: девяносто на шестьдесят — и тридцать девять. Начинается, значит, токсический шок — надо брать ее срочно.

— Нужно вас оперировать. Нагноение почки — возможно, придется ее удалить. Согласны?

Женщина так устала, что вместо ответа только закрыла, а потом утомленно открыла глаза.

На то, чтобы все подготовить, уходит около часа. Наконец каталка загромычала по коридору. Значит, пора подниматься и мне.

Моюсь. Руки под сильной струей воды кажутся очень худыми. Салфетки, которыми их затем протираешь, издают спиртовой резкий запах. С локтей на кафельный пол падают капли.

— Одеваться!

Продеваю руки в горячие рукава халата. Меня облачают, словно священника в храме. Затем тупфером мою операционное поле. На влажной коже блики от лампы становятся ярче. Вот серые простыни накрывают больную — человека почти и не видно под ними — и сразу становится легче, спокойнее. Перед тобой уже как бы не весь человек, с его телом, душой и загадочной жизнью — а лишь небольшое поле.

Подробно описывать ход операции я, пожалуй, не стану. Но помню, как сильно перетрухнул, когда мимо большого федоровского зажима ударила струя крови. Машинально прижал к позвоночнику это место и крикнул:

— Отсос!

Наконечник отсоса звякнул по металлическим кольцам — и старый, перержавевший зажим неожиданно выпал из раны! Еще слава Богу, что удалось, торопясь, положить другой зажим параллельно аорте, вдоль ее туго прыгавшей стенки..

— Кажется, взял... Посуши, осторожно.

— Что у вас там? — встревожился анестезиолог. — Почему давление ухнуло?

— Бранша зажима сломалась. Так ведь и до инфаркта недалеко...

Внутри у меня все дрожало: сердце прыгало, кажется, от коленок до горла.

— Света, вытри мне лоб, — попросил я сестру.

Она салфеткою вытерла пот, брызги крови, и виновато сказала:

— Ну что же я сделаю? У нас все зажимы такие — их уж давно повывбрасывать надо.

Сильная встряска всегда оставляет осадок: словно ты отравился. Мутит, сушит во рту, слабость вливается в руки и ноги. Так, через силу, и приходится завершать операцию.

Спускаясь по лестнице — оперблок на седьмом этаже — думаю: удастся ли выпить чайку — или снова придется в приемное топтать? Был

десятый час вечера: дежурство, по сути, лишь начиналось. В нашем-то деле главное — ночь; и она приближалась...

Выключив свет, смотрю в окна дома напротив. В желтых квадратах появляются и пропадают люди; лампы то гаснут, то загораются; кое-где дрожит призрачный свет телевизоров. Я себя чувствую одиноким и старым. Смотрю на мелькающих в окнах людей словно с другого берега — и река, что нас разделяет, становится шире и шире. Редко где так же, как на дежурствах — да вот еще в одиноких походах — чувствуешь, до чего же пустынна жизнь... Но с радостью слышишь далекий звонок телефона: ты еще нужен кому-то!

Бреду в приемное медленно, по-ночному. Синеватый свет лампы трепещет под потолком. На лестнице курят больные: увидев врача, они замолкают.

Молодая полная женщина стонет и вертится на кушетке, кусая губы.

— В больнице останетесь?

— Да!

...Устал, хочу спать. Снимаю халат, достаю одеяло, ложусь на диван. Больничные звуки — гудение лифта, шаги, завывание труб — то отдаляются, то нарастают, словно волны прибоя. Я, как щепка, качаюсь на этих волнах: меня или выбросит снова в реальность — или утащит в желанные воды забвенья.

Врачебный сон на дежурстве всегда неспокоен. Недавняя операция не дает мне покоя. В пальцах будто бы снова ломается старый зажим, и шипящая алая кровь наполняет глубокую рану...

— Доктор, в приемное! — сонный голос сестры прогоняет видения.

На кушетке в приемном скулит окровавленный человек.

— Что случилось?

— Избили... менты... — раздирая засохшие губы, хрипит жертва ночи.

— Живот открывай. И штаны опусти. Да пониже, пониже! — мой голос сейчас раздраженный спросонья.

Решаю его оставить: пускай полежит до утра. Возвращаюсь в ординаторскую, валяюсь на диван — и теперь окончательно просыпаюсь. Вот так всегда: смотришь больного сквозь сон, в полудреме — а в ординаторской сон пропадает! Поворочавшись, мысленно снова осматриваю избитого мужика. А не слишком ли он напрягает живот? Вздохнув, поднимаюсь, иду к нему снова.

— Подыши... Здесь не больно? А здесь?

Да нет, я напрасно тревожился: живот спокойный.

На часах половина третьего. Ложусь, закрываю глаза. Падаю в черную яму забвенья — и тотчас, откуда-то сверху, доносится голос:

— В приемное!

О, Господи... Снова сажусь, но никак не могу понять: где же я? Зачем этот бледный свет ночных окон, зачем эти темные глыбы окружают меня — и как разжать ледяную, жестокую лапу тоски, сдавившую сердце? Сомнамбулически двигаюсь к двери, но в душе остается недоумение: зачем это все? И куда я иду? Путь в приемное кажется долгим, почти бесконечным. Наверное, нет в моей жизни дорог тяжелее, чем эти вот сорок шагов по больничному, режущим светом залитому коридору — и затем вниз, по ступеням ночной черной лестницы. Ночь бесконечна — но так тесна, что трудно дышать в ее мертвых пространствах. Словно щелочь, она разъедает тебя — кажется, ты растворишься еще до того, как достигнешь конца коридора...

Первое, о чем думаешь, подходя к приемному: «Только б не травма, только бы — не оперировать!» Но сестра, как нарочно, встречает тебя возбужденным, испуганным возгласом:

— Доктор, у нас ножевое ранение!

...Из операционной выходишь, когда уже рассвело. Усталость в эти часы принимает характер болезненной бодрости. Словно уголь жжет

изнутри; а если пройти мимо зеркала, то увидишь лицо, в первый миг незнакомое: бледное, постаревшее лет на десять и с лихорадочным блеском в глазах...

Покидаю больницу, как человек, который вышел на вольную волю после долгого заточения. Хорошо и легко — несмотря на усталость.

Не зайти ли на рынок? Люблю бывать здесь после дежурства. Входишь в клубящийся гул, в это пестрое многоголосье — как будто пускаешься плыть в водах сильной реки. Потоки людей разливаются между торговых рядов, то завихряются водоворотами, то растекаются, словно перед запрудой — ты, отдавшись течению, плывешь в этих шумных потоках.

Когда смотришь под купол, туда, где в рассеянном свете перелетают тяжелые голуби и снуют воробьи — голова начинает кружиться. Кажется, что находишься внутри огромного гулкого шара — который летит неизвестно куда. Так ничтожен, так тонок людской копошащийся слой — то живое зерно, что течет по дну колоссального закрома — и так грандиозно, торжественно, гулко пространство над головами...

Бреду по корейскому ряду. Узкоглазые лица, как луны, висят над холмами загадочной снеди. Что за странные космы, пучки и волокна свисают с протянутых вилок? Певучая, детская речь раздается в корейском ряду. Космы огненно-рыжей моркови, лепешки грибов, серебристые волосы рисовых нитей — все соблазняет. Не в силах противиться искушению, кладешь на язык прядь моркови. Кажется: тысяча змей укусили в гортань!

Отдышавшись и отерев слезы с глаз, вливаюсь с людским гомонящим потоком в иные — родные и близкие — берега. Здесь старушки торгуют капустой, грибами, вареньем. Прочитав сотни книг и пройдя по десятку музеев, не узнаешь, насколько ж ты русский — как здесь, среди тазиков с кислой капустой, кадушек с солеными огурцами и разнокалиберных банок с вареньем, стоящих шеренгами, словно матрешки. Ну-ка, ну-ка — попробую, причащусь... Хватаю щепотью капусту, кладу в рот, утираю сок с бороды.

— Как, сынок, нравится?

— Нравится, бабушка. И почему же она у тебя?

После капусты хочется есть. Что ж: пройдем по обжорному ряду. Слева лотки с пирожками, справа — снежные россыпи творога, банки сметаны, бидоны с топленным или сырым молоком. Каких взять пирожков? Пожалуй, с картошкой: от них еще поднимается пар. Топленое молоко тоже теплое: подгорелая рыжая пенка плавает в кружке.

Отдежурился, я заслужил эту трапезу. И больше того: заслужил право общаться, беседовать с миром, отвечать — или, может быть, не отвечать, — на вопросы, которые он задает. Утренний рынок, весь его гомон и пестрое многолюдье — для меня это высшая из наград за дежурство. И даже усталость несу я сейчас с удовольствием: она словно мой пропуск в мир, мое разрешение быть и смотреть в глаза бытия. Я, наконец, вышел в мир, я прорвался; именно к этому, к этой вот цели и этой минуте я шел все дежурные долгие сутки — а, может, и целую жизнь.

Рядом со мною пьет пиво опухший, оборванный, грязный мужик. Он только что, суется, помогал разгружать ящики с автокара — и заработал себе опохмелку. И я вдруг увидел в лице алкаша выражение, близкое мне самому. Это было блаженство короткого примирения с миром — и нарушала его только мысль о непрочности, краткости этой минуты? Божж, как и я, заслужил себе право смотреть в глаза жизни, не чувствовать горькой своей отлученности от бытия...

И так мы стояли с ним, два калифа на час — он с бутылкою пива, я с кружкой топленного молока, — а рынок гудел и клубился вокруг, и купол его, как надувшийся парус, куда-то летел — оставаясь на месте.

Поход начинается с карты. Сидеть над ней можно часами — и созерцание превращается в странствие. Что-то важное говорят душе топографические значки, эти цифры и буквы, сетка дорог и тропинок, и контуры замкнутых горизонталей, которые напоминают годичные кольца на срезе дерева... Всегда представляешь, как в реальности выглядит то, что помечено знаками карты. Вот крупа деревень, что всегда гуще посыпана возле рек — а на самом-то деле там можно увидеть дома над излучиной по каменистому берегу, подзатопленные плоскодонки, мостки и стирающих баб, дымы от топящихся банек, бредущее стадо, слоистый туман над картофельным зацветающим полем... Вот пунктиром отбитые тропы в лесу: но в реальности их отыскать невозможно — приходится лезть, как лосю, напролом. Вот часто положены кольца горизонталей: это сухие холмы с волокнистой длинной травой. Если на этом пригорке не окажется кладбища, то можно устроить отличный ночлег: ни тебе комаров, ни густого тумана. Вот здесь, скорее всего, непролазные заросли в пойме реки; здесь, в заболоченном хвойном лесу, частокол мертвых елей — и здесь неожиданно, с хлопаньем, взлетит из-под ног грузный тетерев...

Иногда кажется: в сам-то поход можно уже не ходить — хватит и созерцания карты. Почему так томится, так сладко ноет душа над потрепанной старой двухверсткой? В этом томлении вспоминается как бы то, что было еще до рожденья, до начала земного пути. Некий «я» — тот, еще неродившийся «я», — словно тоже сидел, долго грезил над некою картой — ему еще предстояло свершить окончательный выбор. Он должен был выбрать земную дорогу, судьбу — заявить о маршруте еще не начавшейся жизни. Быть может, тогда, в смутных сумерках предбытия, уже зародилась любовь к этим пыльным дорогам и тропам — по которым и ныне влачится мое утомленное тело?

Но пора собираться. Прячу карту в пакет — туда же кладу карандаш и блокнот, нитки с иголкой, бинт, комок ваты, облатку с таблетками аспирина и капроновый шнур. Рюкзаку, с которым хожу до сих пор — сорок три года. Еще отец купил его на одну из первых рабочих получек, году в пятьдесят шестом. И вот он донныне нам служит: уже поистершийся, выцветший до белизны.

Что взять из одежды — кроме того, что надену? Две пары носков, толстых и тонких. Может, взять три? Все же ноги — первейшее дело в походе. Обязательно легкую кепочку с козырьком: по жаре без нее далеко не уйдешь. Старый, истершийся на локтях свитерок для ночлега. На случай дождя есть прорезиненный плащ с капюшоном — лет двенадцать назад купил его в «Военторге». Занимает он полрюкзака, и довольно тяжел; зато как приятно бывает его развернуть — когда первые, крупные гвозди дождя уже вбиты в дорожную пыль, — и накрыться военной этой накидкой, и продолжить ходьбу — посерьезневшим, строгим, солдатским размеренным шагом...

Так, с одеждой покончили. Нож: не забыть наточить. Обязательно спички: несколько коробков, да в пакетах, да в разных местах рюкзака. Хорошо бы и старых газет на растопку. Понимаю, что баловство, что можно надрать бересты или наломать сушняка из чащобы еловых ветвей. Но в конце перехода, случается, так устаешь, что возиться с растопкой, да еще в мокром лесу иль на голом речном берегу — сил уже не остается.

Наконец, кладу жестяную любимую кружку. Она дочерна закоптилась, помялась; к ней подвязана дужка из проволоки — чтобы подвешивать над костром. До чего хороша! Хоть собирай в нее милостыню, хоть заваривай чай, хоть свари в ней грибы или несколько раковин пресноводных беззубок.

Внутрь кружки кладу пакет с чаем. Это весь мой припас-провиант. Случается, правда, беру сухарей — чтоб сбить самый острый голод.

А остальную еду мне подарит дорога. Голодать никогда не случалось. То надергаешь из болотца рогоза, наламаешь молоденьких пазушных листьев, похожих на зубы дракона, и сварить душевный супец; то, катая в ладонях колосья, налуцшишь восковых зерен пшеницы — и мучнистую сладкою кашей наполнится рот. То залезешь в малинник или черничник — и выйдешь минут через сорок, искусанный комарами, с фиолетово-синими пальцами и с таким же, наверное, ртом...

Живя на границе меж прошлым и будущим, мы не можем поймать, удержать бытия в настоящем. Мы непрерывно летим по касательной к жизни, из бывшего в грядущее — а точку касания не назвать даже краткой, ибо она исчезающе, невесомо мала. Те буквы, что были написаны в эти секунды — уже невозвратное прошлое; то, что я напишу спустя миг — еще несвершенное будущее. Как же втиснуться; как поместиться меж двух жерновов, перетирающих в пыль нашу жизнь — как удержать миг реальности? Мы живем, словно в бреду: в любую секунду находимся либо в прошлом, среди воспоминаний — либо в грезе о будущем. И в том, и в другом случае мы общаемся с призраками, а объекты реальности часто не могут пробиться к нам сквозь туман субъективных иллюзий.

И в этом-то смысле дорога — одно из волшебных лекарств. В начале любого похода, с первых шагов, изменяется восприятие мира. Буддист применил бы особое слово «сатори» — то бишь, просветление. Да, это вправду похоже на то, как будто с глаз сняли повязку. Мир молодеет, свежее. Словно ты неожиданно выпал из поезда времени — и отчетливо, как бы впервые, увидел щебеночный склон, мать-и-мачеху, шпалы и радужный отблеск мазута — увидел все так подробно и крупно, что понял: мир никуда не исчезнет, он вечно останется здесь, в настоящем...

Дорога есть способ борьбы не с пространством — но с временем. Кажется: лишь, когда я иду по дороге — я в действительном смысле живу. И больше того: лишь во время ходьбы я уверен в реальности мира. Дорога спасает не только меня — ради этого, может, не стоило б ей и стараться, — но спасает от времени весь окружающий мир. Ведь если хотя бы одна пара глаз может видеть все с точки зрения вечности — значит, есть эта точка, есть вечность, и для мира есть шанс этой вечности принадлежать.

Но что толку молоть языком? Лучше встать, да пойти. И почувствовать всем существом, что мир есть обочина некой дороги, что суть, сердцевину, ядро бытия составляет стремление мира стать чем-то иным, нежели то, что он есть. Только дорога — как скажет философ, лишь бытие в его становлении, — и есть настоящая жизнь, жизнь живая...

Вы замечали, что ноги шагают в одном ритме с сердцем? Само сердце как будто стучит о дорожную пыль — сердце бредет сквозь волнистое марево зноя...

Потом, уже после похода, сама-то ходьба вспоминается мало. Помнишь привалы, ночлеги, купанья в реке, разговоры и встречи, внезапные ливни, костры и озноб в предрассветном тумане... А то самое главное, из чего поход состоит, в памяти как-то тускнеет — ходьба забывается быстро, как сон.

Но в ней, в ходьбе, есть своя мистика, есть нечто, что погружает идущего в состояние транса. Душа засыпает — и пробуждается одновременно. Укачанный зноем, ты дремлешь, ты сонно плывешь над дорогой — забыто и время, и цель путешествия, даже усталость забыта, — но тут же и яркие, свежие мысли приходят к тебе, вспоминается то, что уже не надеялся вспомнить, какая-то новая сила горит в глазах ходока.

Бывает, во время ходьбы говоришь сам с собой. Или, точнее, с тем невидимым, кто — в этом ты совершенно уверен, — тебя видит и слушает. Со стороны ты похож на безумца. То вдруг нахмуришься, то засмеешься, то что-нибудь скажешь, то настожишься, словно пытаешься

расслышать ответ. Бывает, и песню споешь, иль загнешь анекдот — да и сам засмеешься, как будто услышал впервые.

А с кем ты ведешь бесконечные эти беседы? Кто, кроме пыли, травы, кроме жалобных чибисов, слышит полубезумные речи? Но тот, кому надо, услышит — и поймет, несмотря на сумбур, все, что ты хочешь сказать...

Идти хорошо, коль дорога не очень разбита: если не пылью, а мелкою травкой покрыты обочины. Подорожник, полынка, змеиный горец, клеверок, лебеда да ромашка — всегдашние спутники пеших походов. И насколько же ближе, родней человеку дорожная эта трава — чем, скажем, обильная зелень болотного луга или мшистое царство лесной непролазной чащобы. Полынь-подорожник, ромашка да донник — они как бы сделали шаг из природы навстречу нам, людям; они первыми ощутили ту жажду смысла, которая и привела их — к дороге.

Впрочем, и пыль хороша. Хорошо опускать утомленные стопы в этот осадок белого неба. Пыль, как сухая вода, заливает выбоины и колеи. Вон вдалеке загудел грузовик — и дорожная пыль, как завеса, поднялась над полем. Там, в пыли, и не видно границ меж землею и небом; это память о тех временах, когда небо и твердь еще были единым, клубящимся облаком пыли...

О многом случается думать, шагая в пыли. О том, например, что одна только пыль остается для вечности — что время не только не властно над нею, но время само превращается в пыль. Как дробится земля на корпускулы пыли — так и века рассыпаются в прах до мельчайших частиц, неделимых мгновений: из них-то как раз и составлена вечность. Пыль — колыбель и могила, омега и альфа, начало всего и всему же конец, пыль есть то, что оставим мы после себя — и что вечно в себе сохранит сокровенную тайну дороги...

Но, кроме пыли и трав, есть еще непременно спутники: овода. Они поднимаются, как самолеты, с земли — и атакуют с решительной злобой! Их укусы, как угли, обжигают во время ходьбы. Там, где гоняют коров и где оводов всегда много, идешь, напряженно сутулясь. Пространство тогда превращается в гудящую зыбкую сеть — и с интервалом в одну-две секунды в тебя ударяется серая пуля...

Невероятно живучи гундосые бестии. Ударишь его, паразита, ладонью, раскатаешь в хрустящий комок, бросишь под ноги месиво лапок и крыльев — а он, как бессмертный Кашей, вновь взлетает из пыли!

Овода — воплощенная злоба. Может быть, это басы являются в облике подлых, кусающих тварей? Как я сострадаю коровам... Аж плохо становится — только представишь себя на месте какой-нибудь Милки иль Зорьки: в жаркий день, на лугу, внутри грозно гудящей и вьющейся тучи. И, как с коровами вдруг случается «зык» — когда они, обезумев, не разбирая дороги, с ревом ломятся

сквозь кусты — так, бывало, и я, бестолково махая руками, пускался бежать по дороге. Да что проку? То-то, небось, хохотали злодеи: давай-давай, парень, попробуй от нас убежать!

Против них одно средство: презрение. Как ни странно, на оводов это действует. Их укусы уже не так жгут — и, в конце концов, овода теряют к тебе интерес. Как будто их цель и была только в том, чтоб тебя напугать и унижить, чтоб надругаться не столько над телом, но, в основном — над душою. И если, скрепясь, одолеть в себе панику, прекратить суетливое хлопанье по бокам, по спине и по шее — овода отступаются...

Что ж: дорога, как жизнь, должна иметь свою нечисть — для испытания тех, кто шагает по ней.

Мир меняется, когда в нем возникает дорога. Вот представьте себе непролазную чащу, бороды мха и наросты лишайника на стволах, запах прели, трухлявые пни, паутину, пружинящий мягкий подстил под ногами — там муравейники, корни, грибницы, труха и опавшие листья, —

и представьте себе человека, забредшего в эту чащобу. Его окружает первичный, бессмысленный хаос природы, который готов растворить человека, размазать его по бесчисленным глоткам, желудкам, корням.

Чащоба дремучего леса и сама-то страдает от той круговерти, от коловращения органических жерновов, которые все перемальвуют в себе — но в диком вращенье которых не видно ни смысла, ни цели. Зачем копошатся и ползают, чавкают, поедают друг друга, совокупаются и умирают все эти неисчислимые мириады существ? Зачем эти сети корней, что опутали землю, без устали кормят зеленые листья, гонят к ним соки земли — а затем сами питаются трупами этих же листьев? Не знаю, как вас — а меня в чаще леса одолевает тоска. И она совпадает с какой-то всеобщей тоскою, с желанием мира найти в себе некий просвет...

Но лес редет, деревья расходятся, над головой открывается небо — и выходишь на старую, в лужах, дорогу. Как описать этот вздох облегчения, радость находки?! Да и лес — посмотри! — рад дороге не меньше тебя. Куда-то уходит угрюмость чащобы: как будто на мрачном лице появляется вдруг улыбка. Вот ветерок прошумел по подлеску, стряхнул с листьев остатки дождя; вот солнце упало на мокрую зелень, забилося в сетях задрожавшей листвы, и просыпалось сквозь, до земли, до травы — где осталось гореть ярко-красными искрами земляники... Лес как-то сразу ожил, встрепенулся, задвигался и задышал. Он почувствовал: раз есть дорога, и она нас куда-то ведет — значит, есть в мире что-то и кроме дремучей чащобы...

Случалось бродить и звериными тропами. Правда, нечасто — я не охотник, — но, все же, сбиваясь с пути, забредал я и в топи, и в буреломы.

Помню, шел вдоль Угры. Ничто, вроде бы, не сулило мне приключения. Впереди, за чащобой хмызника в топкой низине, я уже видел палатки на склоне высокого берега — к ним и хотелось бы выйти. Решил двинуться напрямик, сквозь чащобу. К тому же, какие-то тропки ныряли в лозняк: значит, кто-то ходил уже здесь. Но, когда я шагнул в эту сырость, в крапивные джунгли, когда комары поднялись, как звенящий туман, когда под ногами захлюпала торфяная, покрытая ржавчиной, жижа — я понял, что тропы-то были кабаньи... С каждым шагом я погружался в урему, в такие места, где, может быть, отродясь не ступала нога человека. Но тропы-то были! Они-то и не давали мне повернуть, они, словно заманивали: «Ну что ты, не бойся, вот-вот идти станет легче...»

Ноги вязли уже по колена. Комары, обезумевшие от неожиданной легкой добычи, серым слоем ложились на шею, на руки. Хотя день был ясным, но здесь жили сумерки. Продираться сквозь заросли было так тяжело, что в азарте усилия некогда было подумать: безумец, куда ты идешь? Грязь под ногами была ледяной: сквозь торфяные наносы здесь пробивались бесчисленные родники. Разрывая какие-то стебли, то и дело поперхиваясь комарами, утопая в податливом торфе — яростно и бестолково я бился в зеленых сетях. А тропы, что заманили меня в этот ад, будто смеясь надо мною, то разделяясь, то снова сходясь — увлекали все дальше в болотные дебри.

Хорошо, что я вдруг упал. Встал из грязи с трудом, перепачкавшись, как свинья — но зато наконец-то одумался. Сквозь комариный назойливый звон пробивалось журчанье и плеск: неподалеку несла свои воды Угра.

Но даже к ней удалось мне пробиться не сразу. Чащоба держала так цепко, что я был без сил, когда наконец-то ногами почувствовал теплые воды реки. Лозняк нависал над водою — тело мое еще было в плену, — но речная, свободная ширь уже открывалась глазам. Сдернув рюкзак и подняв его над головой, обрывая последние цепкие щупальцы хмеля, я упал в реку — и тотчас меня понесло, подхватило течение. Как было радостно плыть — ускользая из плена уремы!

По человечьим тропинкам ходить все же много приятней. С нежностью отношусь я к незрелым, молоденьким этим дорогам. Они-то играют и выют по склону, то прячутся в мокрой траве, то с каждым шагом взрываются, мужают, становятся шире — или, напротив, тоньше, и вдруг пропадают меж кочками луга, под крики мятущихся, кем-то обиженных, чибисов... Общение с тропинками радует — но утомляет. Не знаешь, чего от нее ожидать, что вдруг взбредет в ее голову? Или поманит-поманит — и бросит, словно капризная девушка; или вдруг быстро состарится, станет проселком — и тебе самому уж придется оставить ее, и искать себе новой, молоденькой спутницы...

Вон стожок на лугу, у обочины. Не пора ли устроить привал, приготовить чаек, подремать под мышинные шорохи-писки? А то уже ноги гудят, как столбы телеграфа, и скука усталости застигает рассеянный взгляд.

Устроимся здесь, с теневой стороны. Стащим на землю охапку соломы, сбросим рюкзак да потянемся всласть...

Так, первым делом — чайку. Ручеек побулькивает в овражке через дорогу. С кружкой в руке спускаюсь сквозь заросли сныти. Где же ручей? Ага, вот он: меж торфяных черных кочек отблескивает вода. Осторожно, ступив на поваленный ствол ракиты, зачерпываю из ручья. Вода совершенно прозрачна: листья на дне видны даже лучше, чем на берегу.

Теперь костерок. Нужен-то он небольшой: хватит нескольких сучьев, подобранных возле дороги. Для растопки срываю пук пыльной засохшей травы, да походя поднимаю папиросную выцветшую коробку: прошлым летом здесь кто-то покуривал «Приму».

Скоро вода забурлила. Пока чай настаивается, разубаюю и разминаю гудящие стопы. Вот блаженство! Когда сел, привалился к стожку, отхлебнул горький чай — взгляд поплыл по-над пожнями, над золотистой стерней. Может, мы терпим, куда-то идем, устаем, — только ради привала? Ради вот этих минут, когда тело лежит, наполняясь истомой — а душа уплывает в лиловую мглу горизонта, в манящую недостижимую даль?

А потом погружаешься в сон. Дорожные сны, при всей их непрочно-сти — то зудят над лицом комары, то озябнут вдруг ноги, то какой-то комок или корень надавит под ребра, — эти сны все же слаще, чем сны на перине. Иногда словно валишься в яму — по черному фону плывут мохнатые огненные шары — и там, в глубине, пропадаешь. Иногда тебя словно раскачивают на громадных качелях: куда-то летишь сквозь причудливый мир арабесок — но затем возвращаешься снова в реальность. Приоткроешь глаза: видны глыбки земли и сухая коровья лепешка, паук-сенокосец, перебежавший по ней. Дальние сосны — не больше метелок травы. А затем улетаешь назад, в хаотичную смесь смутных образов и голосов...

...Просыпаешься — а глаза твои влажны от слез. И на душе так легко, будто во сне ты покаялся и причастился. С хрустом тянешься, скользя пятками по соломе. Видишь синий просвет меж тугих облаков: стрижи неустанно мелькают вверх, и небесная синь мгновенно сгущается вслед пролетающим птицам. Слышно, как ветер шуршит, задирая вихры на макушке стожка. И все, что ты видишь спросонья, кажется новым, проснувшимся вместе с тобою: дымок над кострищем и птица-овсянка, пригнувшая яркий малиновый шар бодяка, и дождь из соломин, что ветер понес над дорогой, и куст лозняка, показавший изнанку серебряных листьев...

Шел в Оптину и уже подходил к Перемышлю. Долина Оки изнывала от зноя. Поселок был виден вдали: сады и домишки, как миражи, дрожали в струящемся мареве.

Но дорога брала все правей: она огибала широкую чашу приокского топкого луга. Эта петля прибавляла не менее трех километров пути. Интересно, нельзя ли пройти напрямик?

Сутулый старик ворошил сено, обочь поднимавшейся в гору дороги. Порывы горячего ветра несли травяной легкой сор. Старик делал шаг, цеплял граблями линейные космы травы и резко, как будто сердясь, переворачивал их. Седая щетина блестела на темных обветренных скулах.

— Слышь, дед! Через дуг, напрямик, я пройду?

Старик не спеша обернулся, посмотрел на меня, потом, шурясь, долго смотрел вдаль над кочками луга, потом его взгляд возвратился ко мне. Дед оценивал даже не столько дорогу — сколько меня, ходока. Наконец он серьезно и твердо сказал:

— Значит так, парень. Если х...чить — пройдешь!

И я пошагал напрямик...

Давно хотел посетить Коренную пустынь, что на Курщине. В тех местах я родился; бледное небо подстепья и черная, жирная, словно масло, земля, — та земля и то небо, меж которыми я прошел по своим первым дорогам.

Но был и еще мотив, результат, может быть, совпадения, случайности — той случайности, что, по Пушкину, есть орудие Провидения. Поселок, выросший возле обители, и называвшийся ранее «станция Коренная», после второй мировой войны был назван Свобода. Когда я об этом узнал, то некая тайная связь укорененности (Коренная же пустынь!) и свободы как будто на миг перестала быть тайной.

Свобода... Как мало ее в нашей жизни, и как мы тоскуем по ней, и в глубине души верим, что мир есть лишь плен, но что родина наша — свобода. В пространствах свободы — я понимаю, что слово «пространство» не очень-то здесь и уместно, что оно уже несет мысль о границе, — но все же «там», а не «здесь» лежит наш исток, изначальная сущность. Покинув свободу, мы пали к ногам объективной причинности, смерти и времени; но каждый из пленников все же таит в себе мысль о побеге. Душа ищет спасительный выход, тот путь, который, ведя нас вперед — возвратит нас туда, где мы были когда-то...

И вот я сказал кассирше на Северной автостанции Курска: «Один билет на Свободу, пожалуйста». Она улыбнулась; улыбка ее была чуть виноватой. Кассирша словно бы догадалась, что за свобода была мне нужна, и понимала: за восемь рублей билет на такую свободу продать она мне не могла. Но я был рад и тому серому листику, что лег на тарелочку в полукруглом окошке.

Еще было рано, но утренний зной уже затопил автостанцию. Ровно в восемь подъехал раздрыганный пыльный автобус, мы — полудюжина пассажиров — расселись по жестким сиденьям, и покатали по Курску.

Я люблю этот город, его светлые улицы, ветер и пыль, что гуляют по ним, и чувство степной древней воли, которое оживает в душе, когда смотришь вдаль с курских холмов. Улицы падают вниз — и как будто летишь, вслед за взглядом, к сиреновой мгле горизонта. «А мой-ти куряни — сведоми кмети...» — всегда вспоминается «Слово», и гордость, и сладкая горечь сжимает вдруг сердце.

Подъехали к площади Перекальского, обогнули здание мединститута и покатали вниз, вдоль трамвайных путей, к мосту через Тускарь. Несмотря на второй месяц засухи, река почти что не обмелела. У тоннелей около железнодорожных путей автобус остановился и быстро наполнился возбужденными, потными дачниками. Разговоры были одни: о небывалой, пугающей суши. Под причитанья о засухе мы и выехали из Курска.

Дорога шла меж свекольных и кукурузных полей. Их чахлая зелень уж, кажется, и не надеялась выжить. Прерываясь, тянулись полосы лесопосадок. Солнце било в окно; пыль, висевшая густо в горячем салоне, делала видимыми косые солнечные лучи. Скоро пейзаж оживился, дорога поднялась на холм. Свежепобеленная и по-южному коренная церковь проплыла мимо автобуса.

— Это еще не Свобода? — с надеждой спросил я соседку.

— Нет, это Тазово. Свобода будет минут через десять.

Осеньясь крестом, я ступил за ворота. Редкие сосны не закрывали просторного, вольного вида: спуска к реке, полосы серебристых раки, бледно-зеленого поля овсов и далеких полей, перелесков и сел, что прострели до самого горизонта.

Женский скит, примыкавший к обители, был, как видно, устроен недавно: следы новоселья — доски, поддоны, корыта из-под раствора — попадались мне на глаза. Светлое трехэтажное здание, в котором жили послушницы и монахини, нарядно белело на склоне. Когда я спустился к нему, то почувствовал запах жареных блинчиков. Зазвякал большой колоколец, созывавший сестер к завтраку. Жестяной этот звук казался одновременно казенным — но и уютно-домашним. Внизу рокотал «Беларусь»; озабоченно-радостные голоса доносились от птичника, с хоздвора.

Я постоял перед домом, глядя на длинный пруд, протянувшийся у подножья холма.

— Здесь богатые ловли, — сказал коренастый чернобородый мужчина, оказавшийся рядом. — Всю епархию карасями снабжают.

Он же вызвался проводить меня к монастырю.

— Мне самому туда надо, — пояснил бородач. — С батюшкой нужно поговорить.

По длинной лестнице мы спустились, пошли вдоль пруда. Над водой торчали удилица рыбаков.

— Дикие люди, — сказал мой попутчик, посмотрев на рыбабивших, видимо, местных, парней. — Сколько их ни гонял настоятель — все равно сюда ходят. А еще хотят, чтобы Бог им дождичка дал... Да за наши грехи нас огнем спалить надо!

С интересом посматривал я на случайного спутника. Лет пятидесяти, с выраженьем лица озабоченно-гневным — он не был похож ни на послушника, ни на мирского вполне человека. Кто же он: трудник? Или просто паломник, как я?

— Я тут живу недалече, дом строю, — пояснил он, угадав мои мысли. — Игумен благословил.

Дорога вела нас над Тускарью. Солнце стояло уже высоко над раки-тами.

— Вот, смотри: здесь недавно чудо свершилось! — мой спутник замедлил шаги, указал на часовенку, под которой журчала вода, и трижды поспешно, с поклонами, перекрестился.

— Там источник?

— Да, живоцелебный. — Лицо провожатого из гневного сделалось умиленным, и он на ходу стал рассказывать.

— Приехали слепорожденные: мать и дочь лет двенадцати. Ну, привели их сюда. Помолвившись, попили они сей водицы. Дочь говорит: «Ой, мама, вода-то сла-адкая!» И увидела, как сама Богородица стоит перед ней, улыбается — и так медленно-медленно поднимается к небу... Понимаешь: слепая — увидела! Ну, закричала: «Мама, мама, смотри!» — и прозрела!

— А как же мать?

— Что с матерью стало, не знаю, — честно признался рассказчик.

Дорога, которой мы шли, была удивительно хороша. Раки, ольхи, молодые клены и ясени бросали ажурную тень, а их кроны светились на фоне синевшего неба. Тускарь чернела в прогалах кустов. Нарастал тот полуденный звон — треск стрекоз, басовитые взмахи промчавшихся пчел, зудение мух, комариный дискант, вдруг коровье густое мычанье на том берегу, и сухие сыпучие пилы кузнечиков, суетливо точивших нагретый воздух, — нарастал тот полуденный звон, что всегда совпадает с зенитом июльского дня.

Дорога пошла вверх по склону, кровь сильнее зашумела в висках — и скоро мы вышли на открытое место. Сияние купола и нарядные пестрые стены монастырского главного храма увиделись, прежде всего. А потом взгляд упал на чугунное изваяние: сутулый большой человек, воздев руки, стоял на коленях — то ли молясь за землю, лежавшую перед ним, то ли отечески благословляя ее. Это был памятник Серафиму Саровскому.

— Красота, а? Святое местушко... — умиленно сказал провожатый.

Распрощавшись с ним, я спустился по лестнице. Внизу, у стены небольшого храма, было много людей. Из стены выходила труба: струя светлой, сверкавшей на солнце воды падала в деревянный бассейн. Именно этот источник забил из корней дерева в ту минуту, когда неизвестный охотник поднял лежащую здесь икону. Это случилось семьсот лет назад — и с тех пор ни на миг не стихал животворный поток корневой светлой влаги.

Люди крестились и подставляли бутылки под тугую струю. Вода разлеталась разноцветными брызгами. Подставил и я свою руку под мускулистую, скрученную наподобие корня, струю. Ладонь обожгло; ледяные сверкавшие брызги окропили лицо. Вода несла столько света и силы — что даже солнце, стоявшее в пыльном зените, казалось усталым и тусклым по сравнению с блеском воды.

Чуть в стороне от источника народ совершал омовения в Тускари. Вот пожилая простоволосая женщина в длинной белой рубахе осторожно зашла в воду, перекрестилась и трижды, — и «Во имя Отца, Сына и Духа Святаго!», — с головой окунулась в реку. Сначала рубаха вздулась пузырем — а потом облепила худое нескладное тело.

За женщиной, держась за руки, в воду вбежали две девочки лет десяти, потом, опираясь на палку, вошел толстый старик, потом девушка в ярком купальнике — и все новые люди, кто робко и осторожно, а кто смело бросаясь вперед головой, погружались в целебные воды. Тускарь была как Иордан: люди надеялись смыть в ее водах свои немощи и грехи, хотели очиститься, омолодиться.

Смущаясь купаться среди многолюдья, я зашел ниже, в кусты. Раздевался так медленно, и так аккуратно укладывал на берегу запылившуюся одежду — как будто собрался уплыть далеко, и совсем не вернуться. Клены и ясени чуть качались от ветра, то синева, то искристое солнце врывалось в прогалы листьев.

Раздевшись, с недоумением я осмотрел свое тело. Загорело оно «по-крестьянски», лишь выше пояса. Белье ноги сиротливо стояли на мягкой траве. Вдруг показалось, что это все — руки, ноги, живот — как бы лишнее, что я мог бы, как снял и сложил одежду, снять это тело, оставить его на берегу — а сам бы, избавясь от лишней обузы, свободно поплыл по реке.

Так оно, в сущности, и получилось. Когда я прыгнул, ударился грудью о воду и ушел в зазвеневшую, зыбко-стеклянную толщу реки — я как бы выпрыгнул сам из себя! Под водой, в колыхавшемся сумраке, над барханами дна, валунами и полем волнистой травы заскользила одна невесомая тень, отголосок, мираж — почти не имеющий тела. Томлень в груди вскоре заставило вынырнуть и вдохнуть, но казалось, что я лишен плоти — и река понесла одну мою душу.

Я нарочно почти что не греб — чтоб не спугнуть это редкое чувство. И какое-то время — минут, может, пять — я действительно был свободен! То погружаясь в стеклянную толщу воды, то подвсплывая, скользя под нависшие ветви раки, невесомо вращаясь, не чувствуя тела — я скользил, исчезая, и наконец обретая себя...

Мне казалось: я понял тогда, что такое свобода — как близко она, но и как далека, — как, казалось бы, прост, но и как бесконечно огромен тот шаг, что выводит нас всех, беглецов из мирского томящего плена — в пространства свободы...

Зачем я пишу? Чего я хочу от исчерканной серой страницы — почему нельзя просто жить, просто думать, возиться в саду и работать в больнице, а после дежурства пойти и попариться в бане? Почему жизнь сама по себе оставляет какую-то словно прореху — чувство ошибки, обмана и пустоты?

Бывает, что несколько месяцев не садишься к бумагам. Это обычно случается летом, когда множество разных забот — огородно-садовых, хозяйственных, денежных, прочих — так завалит тебя, что закрутишься, словно вошь на гребенке. И вот в эти-то дни, когда напряжение жизни становится так велико — она, жизнь, неудержимо и странно пустеет...

Но когда угрызения смутной вины и тоски все ж заставят тебя сесть к столу — жизнь понемногу начнет возвращаться. Неважно, получится что-нибудь в эти часы, или нет — само усилие написания текста выводит тебя на единственно правильный путь. В таинственной точке рождения текста сходятся средство и цель, результат и процесс — сходятся путь к ускользающей жизни и сама эта жизнь...

Сама рукопись книги «Дороги» есть, конечно, дорога, есть длинный и сбивчивый путь продвижения от первичной тоски несвершенности и неполноты — к сознанию (быть может, и ложному), что теперь, когда большая часть пути позади, во мне больше жизни, чем в тот давний день, когда началось путешествие.

Быть может, создание текста есть способ вернуться в утерянный рай, в то начальное место, где мы были когда-то — но откуда извергло нас грехопадение? И писание есть, по сути, молитва, попытка исправить ошибку земного, отпавшего от Божества, бытия? Может быть, текст — это путь очищения и покаяния? А уж, какими словами приносит его человек — не так уж, наверное, важно. Что говорил блудный сын, когда падал он на колени перед отцом — да и слышал ли, разобрал ли отец, сквозь рыдания, его покаянную речь? Важно лишь, чтоб оно, возвращение, было чтоб не угасла в нас эта тяга Домой...

Когда-то дороги вели меня прочь из дома; теперь же приходит пора для иного, центростремительного, движения.

В молодости я был уверен, что центр жизни — там, вдалеке, за чертой горизонта. Само собой разумелось, что здесь, на окраине, ты находишься временно, но когда-нибудь непременно окажешься — там. Приедешь, бывало, в Москву и думаешь: вот ты приблизился к сердцевине жизни, и все, что возможно хорошего любовь и успех, воплощение желаний, какая-то небывалая дружба и яркая жизнь — сбудется именно здесь, на этих вот серых асфальтовых стогнах, возле державных торжественных стен...

Но все изменилось. Теперь, после редких отъездов в столицу, возвращаюсь в бушмановский дом с ясным чувством, что вот, наконец-то, я выбираюсь из пыльной провинции, из затрапезной дыры — к центру действительной жизни. Именно здесь, где растут мои дети и старятся мать и отец, где земля нам рождает картошку и свеклу, где случается иногда написать две-три страницы — именно здесь средоточие, сердце всего.

Теперь мне важней, чем уехать куда-то — сходить за картошкой в погреб. Когда, утопая в глубоком, нападшем за ночь снегу, отмыкаешь погребку и отлепляешь примерзшую дверь, а затем наклоняешься, чтобы поднять крышку люка, достать пенопластовый утеплитель, откинуть еще одну крышку — когда, не спеша, выполняешь все это, к душе вдруг нисходит покой. Смотришь, как вместе с тобою морозный клубящийся пар опускается в погреб. Стенки лаза выстланы инеем. Лампочка тускло, загадочно светит в углу. Картошка, как серые камни, лежит в закромах. Мерцают ряды огуречных разнокалиберных банок. Перекрытия — ржавые трубы — покрыты тяжелыми каплями конденсата.

Главное: здесь, под землей — тишина. Может быть, и не столько картошка нужна мне сейчас — а таинственный звук тишины, когда слышишь, как кровь монотонно толкается в уши. Иного движенья и звука здесь нет — здесь царит почти небытийный покой. Это словно зазор между жизнью и смертью; в погребке начинает казаться, что есть еще третье, особое состояние: когда жизнь не ушла, она только уснула — а смерть, подойдя на полшага, боится нарушить глубокий, торжественный сон...

Кирпичная красная кладка сумрачна — швы с раствором насуплены, как чьи-то брови. Погреб как будто сурово тебя вопрошает: кто ты есть и откуда ты взялся? Здесь, под землею, имеет значение только самая суть — только то, что способно вести разговор с тишиной. И, кажется: погружения в погреб есть проба того, что когда-то придется исполнить всерьез и надолго.

Спускаясь под землю, я словно слышу кряхтенье старух, моих прапрабабок, которые, причитая и охая, так же вот погружались в свои погреба. Здесь, ниже уровня почвы, текут родовые незримые токи. Земля их хранит — как хранила когда-то крестьянскую пищу.

Вспоминается тимской погреб бабушки. Спускаться в него приходилось чаще всего в предобеденный час, в самое пекло. Дверная ручка и дужка замка были так горячи, что жгли пальцы. Вот со стуком откинута легкая дверца, поднята крышка люка — и ты погружаешься в сумрак. Земляные ступени прохладные — приятно о них опираться ладонью. Задеваешь за стены, сухая земля осыпается на бумажные крышки многочисленных банок с вареньем — и стучит по ним, как по маленьким барабанам. Думаешь: как же грузная, старая бабушка пробирается здесь?

Привыкнув к потемкам, видишь закром с остатками прошлогодней картошки, земляные сыпучие стены с крысиными норами, которые бабушка позатыкала тряпьем, видишь и цель своего погружения — банку сметаны.

Но не торопиться. Хочется здесь постоять и додумать ту мысль, что живет, ожидая тебя, на дне погреба: она так глубока, что способна явиться лишь в тишине и неподвижности, в толще земли...

О чем эта мысль, я сказать не могу — ибо ни разу ее не дождался. Я чувствовал несколько раз ее приближение — но в тот самый миг, как, казалось, она уж готова была озарить мою душу, я с постыдною спешкой начинал выкарабкиваться наверх! Я словно боялся ее глубины, беспощадности, силы...

Может, поэтому мне так нужен погреб, нужны погруженья в его глубину — чтобы когда-нибудь вновь я почувствовал приближение таинственной мысли, и тогда наконец-то дождался б ее?

Сижу над своей «родословной» — разрозненными листками, на которых, дая памяти, делал когда-то пометки. Кажется, стоишь на скрещенье дорог, на степном перекрестке, пытаешься увидеть: откуда явился я в мир? Родовые пути, расходясь и сливаясь, все тянутся с Юга, из курских или кубанских степей. В преданьях семьи есть история о гречанке, пришедшей пешком в село Выгорное, что на Курщине, с одним лишь цветастым ковром на плече. Крестьяне Герасимовы дали ей кров, а в скором времени кто-то из них взял ее в жены. Эта гречанка была прабабкой моего прадеда — семь родовых колен, около двух веков прошло с того дня, когда южная гостья, пригнувшись, вошла в сени хаты и попросила напиться. Ей дали ковш с той холодной, из нижних колодцев, водою, которую пил потом я, ее дальний потомок. Глоток ледяной, перебившей дыханье, воды после долгой дороги по зною — то, что у нас с нею общее. В этой точке, как в точке причастия, сходятся все представители рода — пусть даже века отделяют нас друг от друга.

Вот предки по матери... Род Поповых, насколько возможно создать его обобщенный портрет, — род неспешных, ленивых, склонных не

к действию, а к созерцанию, людей. (Это, впрочем, относится только к мужской его части.) Прадед, который прожил девяносто три года, последние тридцать лет жизни тихо возился на пасеке или сидел в палисаднике и смотрел на дорогу. С ленцою был и его отец, Максим Прокöpfeвич. Жил он бедно, почти не заботился о хозяйстве, и за его сыновей не хотели отдавать девок из богатых семей. Не хотели, но иногда отдавали: за Дениса выдали красавицу Домну, дочь Тимофея Герасимова. Так белесые курские кудри Поповых были закрашены южною чернотою.

По отцовской же линии вижу смешенье казачьих и курских крестьянских кровей. Сохранилась фотография отцовского деда, кубанца Афанасия, сделанная незадолго до его гибели на войне с германцами. Папача и бурка, ряды газырей — все, как у бравого казака, — но печальный, тоскующий взгляд. Знал ли он о своей скорой смерти — или просто был склонен к тоске? Погиб и он, погиб — но уже на второй мировой, — и его сын Василий, мой дед. Жестокий век не щадил казаков. Да что казаков: крестьянский род Панюковых, род моей бабушки по отцу, послал на войну пятерых сыновей — а вернулся один лишь Георгий. Даже нельзя проследить, долговечны ли были мужчины в отцовском роду: все погибли солдатскою смертью.

Сколько судеб сошлось в перепутанных, сложных ветвях родословного древа! А что от всего сохранилось? Каракули на истертых листках, да моя ненадежная память — да ощущение странного ветра, который гудит над страницами родословных замет. И сейчас, вместе с чувством причастности роду, возникает упорная боль одиночества, даже сиротства. Чем больше я чувствую общность с множеством мне неизвестных, давно уж покойных людей — тем более изумляюсь. Для чего было нужно все это смешение судеб, кипение родовых, сложно спутанных, сил? Для чего совершалось долгое странствие рода по дорогам эпох? Неужели затем, чтобы именно я, наконец, появился на свет и сейчас думаю о том, для чего я родился? Души предков словно обратились ко мне с вопросом: «Скажи, наконец, для чего же все было?!»

Но я так одинок и растерян, так слаб, что не в силах сказать, то важнейшее слово, которого ждут от меня поколения предков и даже потомков. И родовое огромное колесо, которое как бы загнулось на мне, как на камушке пыльной дороги — и с надеждой прислушалось в миг остановки! — вот-вот соскочит, покатится дальше, и на этот раз не узнав, куда и зачем оно катится...

Одно из отраднейших воспоминаний — то, как мы с отцом пили пиво в Тиму. Обычно приезжали к бабушке в начале осени, чтобы помочь с огородом, с картошкой. Утро проводили за письменными столами — отец в доме, я в дощатом сарайчике во дворе, — затем два или три часа работали в огороде, а перед обедом шли выпить пива.

Тим расположен на высоком холме; горизонт теряется в дымке сентябрьского жаркого дня, лоскуты черно-желтых полей тают в мареве — а небо кажется низким: рукою дотянешься. Идешь поселковою улицей, мимо заборов и палисадников, водоразборных колонок, скамеек, видишь весь затрапез полунищей и мелочной жизни — и вдруг меж домами открывается даль! Как разителен этот союз поселкового быта — с былинной, огромною волей и степью...

Отцу был знаком каждый дом и судьба почти каждого жителя; он так много рассказывал о земляках, что мне начинало казаться, будто я тоже провел детство в Тиму.

Улица подводила нас к парку и кинотеатру. Колесо обозрения, тир, старый пруд — все дремало в безлюдье, в пятнистой тени тополей. Проходим котельную, возле которой искрится гора антрацита, и выходим на площадь. Она кажется полем: идем по ней долго, и ветер несет тополиные жухлые листья и пыль.

Пивная все ближе. С дороги ее не увидишь: надо свернуть за угол мебельного магазина. Земля здесь истоптана и усыпана множеством рыбьих скелетов, окурков, бутылочных пробок. Вот и небольшая зеленая будка, которую местный художник с наивною смелостью размалевал персонажами басни «Квартет». Аляповатые звери — козел, осел, мартышка, медведь — кажется, так нарезались пивом, что им уже не до музыки.

За пивной будкой — пустырь. Он зарос той сухою и мелкою травкой, какой зарастают степные курганы. И небо над ним, как над степью: широкое, низкое. Птицы не то что летят, но как будто идут по нему: слышится мерный свист их устало махающих крыльев. Отделяет пустырь от поселка, с одной стороны, ряд кирпичных сараев (в которых хранятся пивные запасы), а с другой — нагроможденья бетонных плит.

Очереди, как таковой, у ларька не бывает. Мужики толпятся перед окошком, и те, кто поближе, суют в него трехлитровые банки. Каждый старается оттереть, отодвинуть соседа — но при этом все сдержанно вежливы и добродушны. Это напоминает кормление птенцов: все гадят и толкутся, и разевают иссохшие рты, а Шурка, хозяйка ларька, раздаёт трехлитровые, пеной облитые, банки. Гудит мат-перемат, дощатые стены дрожат от напора толпы — но Шурке, грудастой, хватистой бабе, это все нипочем. Иногда, чтобы показать свою беспредельную власть над томским мужиком, она громко кричит:

— Да ну вас усех к щертям, горлопаны, охальники! Закрываюсь — и делайтя, шо хотитя!

Пивная струя бьет из крана почти непрерывно. Когда она слабеет и утончается, Шурка кричит:

— Ну, кто посильнее? Кашайте!

За право подкачивать воздух в бочку здесь спорят: помощнику наливают без очереди. Как только зачмокает мотоциклетный насос — пивная струя напрягается и толстеет.

Отстояв в толпе минут двадцать, я несую две тяжелые банки к отцу. Садимся на теплую землю, спиною к шершавым бетонным плитам — и начинаем неспешный пивной разговор. Густая ячменная влага сладкой горечью тешит язык. Скоро и первый хмель — пьем-то мы на пустой желудок, — кружит голову.

Солнце медленно льет свой пронзительный свет, зажигая осколки бутылок в траве. Летит одинокая галка: ты уже трижды успел глотнуть пива, а птица вот только сейчас добралась до зенита. Жизнь замедлилась, стала вязкой и очень глубокой. Любая ничтожная мелочь — метелка травы или камень, обрывок газеты, изогнутый прут арматуры, торчащий из серой плиты, — вдруг становится как бы значительней, больше самой себя...

А скоро — еще и полбанки не выпили мы на двоих, — закрылось окошко ларька. Шурка вышла, неся пред собою огромную зыбку грудь, и зашагала к сараям. Мужики потянулись за нею. Видимо, кончилось пиво, и нужно было забрать полдюжины бочек со склада.

Вот Шурка и шесть ее спутников скрылись в сарае — и мужики, один за другим, стали выкатывать пузатые светлые бочки. Подождав в тени, пока Шурка повесит на двери амбарный замок, все шестеро выкатили бочонки на солнце. Ослепительно вспыхнул металл: каждый, казалось, толкает не бочку, а солнечный сгусток!

Шесть пылающих солнц, громяхая, катились через пустырь — и шесть мужиков, наклоняясь на каждом шагу, усердно толкали сиявшие эти светила. Отчего-то вдруг вспомнился древний Египет и жуки-скарабеи, «катящие солнце». И как будто вся суть, вся история человечества предстала сейчас на тимском пустыре! Вот они, мы — одновременно навозники и титаны, золотари, но и спутники Солнца, пивные жуки-мужики, что свершают космической мощи работу...

Часто ли видим мы звезды? Может быть, лишь в морозные зимние ночи, когда выносим из дому мусорное ведро?

После света, тепла ступить в ночной холод — все равно что нырнуть в родниковую воду. Глаза начинают слезиться, ресницы смерзаются. Звезд немыслимо много в безлунной ночи: крупною солью посыпана твердь. Но, смутившись нечеловеческой их красоты, в первый миг опускаешь глаза. Ты еще слишком сыт и горяч, и еще не готов посмотреть в лицо Космоса. Надо хотя бы озябнуть как следует...

Ступаешь по снегу с оглушительным хрустом и визгом. Лицо обдирает наждак затвердевшего воздуха. Дужка ведра подмерзает к ладони. Грозная ночь! С мира как будто вдруг сняли крышу — открылись знобящие выси и бездны.

Слышна кислотоватая вонь: за углом двадцать третьего дома чернеют два мусорных ящика. Неожиданно два кота с диким воем, сверкая глазами, выпрыгивают оттуда. Я в сердцах бормочу: «Чтоб вы сдохли!» — и опрокидываю ведро. Мусор сыплется в черный зев бака.

И вот только теперь, с опустевшим ведром — сам как бы тоже очистившись, — поднимаешь глаза. От мусорных баков взгляд взмывает туда, где сияют граненые зерна январских торжественных звезд.

Ну, здравствуй, небесный охотник — привет тебе, друг Орион! Давненько, давненько не виделись: то я пропадал на дежурствах, то ты был сокрыт в облаках. Здорова ли пара твоих Гончих Псов, не устал ли ты гнать по небесному своду Медведиц, Большую и Малую? Вижу, вижу, что у тебя все в порядке: ярко сияет в ночи твой алмазный, застегнутый наискось, пояс.

Здравствуй и ты, косолапая тетка-Медведица. Ишь, как вольготно раскинулась ты над ветвями берез — как лоснится морозная звездная шерсть, как бесшумно шагаешь ты в черных бархатах неба... Звезда посредине изогнутой ручки ковша всегда вызывает особенный интерес. Как известно, с ней рядом горит неприметная звездочка — и, пока человек может видеть ее, он еще зорок и молод. Ну и где ж ты, малютка, сегодня? Проморгавшись, я вижу, что рядом с крупной звездой небо как будто пробито серебряной тонкой иглой.

А вон там, к юго-западу, низко горит одинокий и царственный Сириус. Трагической гордости полон его переливчатый блеск. Как принц, удаленный в изгнание, Сириус словно томится избытком своей красоты, своего одиночества. Он и рад бы его обменять на частицу тепла, на единый приветливый взгляд — но целую вечность никто не решится нарушить покоя изгнанника...

То ли дело — Плеяды! Им, подругам, не скучно в ночи: они бесконечный ведут разговор, оживленно мигают в зените январского неба. И я до сих пор не могу сосчитать: сколько звезд в той пригоршне алмазов? Их то шесть, то вдруг девять — а Бунин, я помню, описывал семь, — да еще Млечный Путь протекает как раз по зениту, и его индевелая зыбь размывает Плеяды, мешает считать их лучистые зерна.

Но уже ломит шею. Опуская лицо снова к мусорным бакам, я вижу их совершенно другими глазами. Вдруг понимаешь: насыпанный в баки, морозом прихваченный мусор есть не меньше чудо, чем звездное небо. Что-то важное хочет сказать тебе эта груда объедков, кусков, лоскутов. В этом хаосе, в калейдоскопе частиц продолжается некая жизнь: мощь бесформенной мусорной плазмы таит в себе как бы возможность иных, освеженных распадом, миров! Кожура и лохмотья бумаги, суставы изломанных зонтичных спиц, чьи-то берцовые кости, подметки, остатки прокисшего супа, бинты в пятнах высохшей крови, колготки, трусы, части розовых кукол, изгрызенных то ли собаками, то ли детьми... Наша жизнь непрерывно, с чудовищной скоростью превращается в хлам, но в ней сохраняется неразменный остаток, который становится только прочней оттого, что растет груда мусора, разливается море частиц — тех частиц, что не могут отнять даже малую толику целого...

Созерцание мусора и удручает, и радует. И в такие морозные ночи, когда над деревней стоят дымовые хвосты, когда мутный свет фонарей поднимается к небу столбами, когда птицы, случается, замертво падают в снег, не пробив затвердевший от холода воздух — в такие-то ночи и чувствуешь: словно некая ось, опираясь одним концом в мусор, поднимается к тверди, и крепится там, среди звездных сияющих шестерен — и на этой морозной оси с одышкой и хрустом вращается все мироздание!

Породнились мы и с калужской землей: четыре года назад схоронили здесь бабушку.

Вечером ясного майского дня копал ей могилу. Кладбище выходило к долине реки, на просторное, вольное место. Калужка текла за густой полосой раkitника; вдалеке, за полями и перелесками, были видны городские окраины.

Никогда не копал таких ям: длинных, в рост человека. Сначала рубил и откладывал дерн; затем пошла рыжая глина — и было так странно и жутко забрасывать ею зеленую траву... Медленно, словно в тяжелую воду, я погружался в землю. По колени, по пояс, по грудь — и все труднее было выбрасывать глину. Когда наклонялся, перед глазами была темно-рыжая осыпь земли, ворсины корней и следы от ударов лопаты; когда, выпрямляясь, выкладывал глину наружу, видел небо. Наземный же мир исчезал: он мелькал пред глазами, как призрачно-тонкая грань. Так пловец, уходящий под воду при каждом гребке, видит то небо — то погружается в сумрак воды.

Я копал — словно плыл меж землею и небом. По мере того, как углублялась могила, сменился и грунт. Чистый белый песок, ни разу не видевший солнца, стал вылетать со дна ямы. «Хорошо ей тут будет лежать — сухо будет...» — подумал я то, что, наверное, думают все в таких случаях. И впервые подумал о смерти бабушки, как о том, что уже совершилось — о чем уже можно и вспомнить...

Она умирала, кажется, без мучений — в каком-то полубреду. Не узнавая нас, близких, она подзывала давно уж умерших людей, среди которых прошло ее детство. Ее отец, мать и братья являлись в предсмертных томительных снах. И она окликала их — словно боялась, что ее позабудут, оставят одну. Она возвращалась к началу: воспоминания детства остались единственной, тонкой прослойкой, что отделяла теперь — от иного. Жаль, что этих воспоминаний было немного, и душа не могла задержаться, подольше пожить в своем детстве.

...Неужели последним, итоговым впечатленьем души станет самое первое воспоминание? Неужели опять меня будет нести вдоль забора отец — и я буду смотреть на мелькание досок со странной надеждой, с желаньем проникнуть туда, за ограду? Как будто лишь там, куда до поры я не в силах попасть, меня ожидает покой, утешенье и радость. И когда оборвется мелькание досок, когда распахнется манящий проем, мы шагнем за ограду — и скажут стоящие возле кровати: «Он умер...»

Хоронили бабушку в знойный, сияющий полдень. Погребальный автобус дребезжал на ухабах; пыль висела в салоне; все, кто сидел по скамьям, старались не смотреть на синий брус гроба, стоявший в ногах.

Проехали кладбище, остановились у крайних могил. До нашей ямы идти было метров сто. Конечно, не этот путь был последним для бабушки — она уже отходила земные дороги, — это последнее перемещение тела имело значение только для нас.

Как-то буднично и суетливо были пройдены те сто метров. Вынули гроб, подняли его на плечи — запах сосны стал сильнее на солнце, — и понесли. Помню, едва не споткнулся о ржавый тросик, лежавший в пыли. Я тогда не испытывал никаких особенных чувств. Вряд ли причиной было бездушие. Просто то, что лежало в гробу, имело не более общего с бабушкой, чем ее дом и одежда. Это был прах — и отношение к нему было мертвым. «И возвратится персть в землю, яко же бе,

и возвратится душа к Богу, иже и даде ея...» Мы возвращали земле ее прах, ее «персть», мы торопились исполнить печальную эту работу — но в глубине души жило чувство почти что отрадное. Перед тем, как гроб был закрыт, я посмотрел на иссохший, платочком обвязанный лик и подумал: «Нет, это не бабушка». Ничего от нее не осталось в этом вот строгом и незнакомом лице.

Но где же тогда была бабушка? Уверенный, что она не исчезла, я даже украдкой оглядывался, надеясь увидеть какой-то намек и подсказку.

Облака — или это казалось? — таили отгадку. Высокие белые горы торжественно плыли по небу. Их тени скользили по кладбищу, лугу, долине реки. Облака словно что-то хотели сказать нам, суевившимся возле могилы. Их бессловесный торжественный хор нес душе весть утешения. Особенно были пронзительны те моменты, когда облако наплывало на солнечный диск — и солнце, за миг перед тем, как скрыться, бросало на землю сияющий веер лучей! Это было прощанье — с надеждой на встречу; и некая связь между тем, что случилось у нас на земле, и высоким небесным прощаньем мерещилась снова и снова. Спустя же короткое время облако тихо сходило с чела отдохнувшего солнца — и вновь к нам летел сноп бессмертных лучей...

И вот я иду не один, но с детьми и женою. Меж полей, жарким днем, мы шагаем в любимое место: Красный Городок. Я назвал его «русским раем» — за редкое равновесие природного и человеческого. Здесь было поместье Натальи Петровны Голицыной — той, с кого Пушкин писал старую графиню в «Пиковой даме».

Дом пиковой дамы виден издалека. На холме, на фоне белесого неба темнеет полоска зелени — это липы старого парка, — а в зелень, как розовый камень в оправу, вставлен старинный помещичий дом. Он соразмерен полям, холмам, небу, паре кружащихся воронов — соразмерен и нам четверым, шагающим по дороге.

Точнее, шагает нас трое: Даша, трехлетняя дочка, сидит у меня на плечах. Ее укачало, сморило; как уставший наездник, она сползает с седа то в одну, то в другую сторону. Дима, сын — ему одиннадцать лет — тоже, вижу, сомлел. Ничего: скоро отдых, купание. А вот жена, как ни странно, жару и ходьбу переносит неплохо. Казалось, она уж давно бы должна умолять о привале — но Лена шагает себе, да шагает. Щеки только зарозовели, да светлые пряди прилипли к вискам.

Я привез ее на Бушмановку из Магнитогорска: как водится истари, взял себе женку из дальней деревни. Ее родина — Южный Урал, рубеж меж башкирскою степью и Яицким войском, старинной казачьей землею. Емельян Пугачев бушевал в тех краях. И вот уже — трудно поверить! — двенадцатый год мы с женой плывем в одной лодке. Всяко, конечно, бывало — но мы, слава Богу, пока на плаву...

Несу дочку Дашу, как когда-то меня нес отец — но только не доски забора, а вольная летняя ширь, блеск и роскошь полудня открыта ее полусонным глазам. Вдруг и ей этот миг закрепится на целую жизнь, станет первым осознанным воспоминанием? Хоть бы, думаю, это случилось — хоть бы душа ее вольно росла меж гудящих от зноя полей... Этот первый мазок, который жизнь кладет на холст нашей памяти, значит очень и очень немало. Он задает настроение, цвет и тональность всей будущей жизни. Так пусть не унылый забор будет памятен Даше — а бледная синь запыленного неба, кружащийся крестик высокого коршуна, и дорога, и шорох овсов, и та нега полднего русского зноя, в которой плывешь, как в реке, как в счастливом хмелю...

Дима, сын, загребает ногами дорожную пыль и хлестает прутком по головкам репейника, по мохнатым багровым шарам бодяка. Он, конечно, устал — но мысль о рыбалке подбадривает его.

...Помнишь, Дима, как утром удили мы окуней в пруду пиковой дамы? Один здешний житель указал нам местечко в охвостье пруда,

где всегда стоит окуневая стайка. Оконце чистой, атласной воды было от берега метрах в пятнадцати — поэтому нам пришлось зайти в воду. Стопы вязли в податливом иле, прудовой донный газ, поднимаясь сквозь теплую воду, щекотал ноги — и пузыри его лопались на поверхности. Над ряской, над красными поплавками висели, дрожа, потом исчезали и вновь появлялись стрекозы. Солнце светило нам в правую щеку; разноцветные капли росы загорались на ветках прибрежных ракушек. Пруд весь дымился в косых, уже знойных, лучах...

А как замечательно жадно клевал тогда окунь! Ловили мы на живца; было видно, как поплавок беспокойно дрожит от движений уклейки. Ждать приходилось недолго: резко и наискось поплавок шел под воду! Димка, ахнув, вытаскивал снасть — и сверкающий, красно-сине-зеленый, отчаянно бьющийся окунь летел в наши руки...

Дело было даже и не в окунях — хоть велик был азарт той удачливой ловли. Дело было в пронзительно-остром, почти болевом ощущении счастья, гармонии, полноты. Блики солнца на кожистых мокрых полях колыхавшейся ряски, остатки тумана, который клубился в тени нависавших кустов, и розовый дом над прудом, и пара стремительных горлинок, пролетевших над нами, плеск утиной кормившейся стаи, мельтешение химически-синих стрекоз, и след самолета в безоблачном небе — это все было таким, каким может быть только в раю. Дима, счастливый, взволнованный, глаз не сводил с поплавок — я же млеял в этой роскоши позднего утра...

...После купания, чуть обсохнув, садились перекусить. Семейные завтраки на траве были всегда одинаковы — хлеб, лук, сало, вареные яйца — и неизменно вкусны. Это была, можно сказать, пища как таковая — нечто прекрасное и совершенное в своей простоте. Так же был совершенен и летний сияющий день, и старинный голицинский пруд с его утками, ряской, с густым обрамлением ракушек и черемух. В том, что нас окружало, была достигнута высшая точка гармонии и благородной, достойной себя, простоты. И мы четверо — я, жена, сын и дочь — тоже каким-то таинственным образом были причастны тому золотому сечению жизни, входили в него, как детали единой, большой и прекрасной картины. Больше того: мы сейчас составляли ее сердцевину, ее магнетический центр. Кто, как не мы, были рады и солнцу, и блеску — кто с такой благодарностью принимал все дары несказанного русского рая?..

Кружка воды... Не дает мне покоя та кружка воды, которую пил я когда-то в жару, в полутемных сенях деревенского нашего дома. Как сейчас вижу земляной гладкий пол, словно намыленный там, где пролилась вода, два ведра на скамье и зеленую кружку на мокрой фанерке, которой прикрыто ведро. Тому уж лет тридцать, но я помню все так отчетливо, что в самой этой яркости воспоминаний, конечно же, заключен важный смысл.

Рассказывали, как умирал Иван Денисович Попов, мой двоюродный дед. Сам родом из Выгорного, он прожил жизнь в Харькове, был вполне городским человеком. Когда же он умирал, то последнее, что было им сказано: «Ничего не хочу... Хочу кружку воды, там, в сенях...» Кружка воды, в тех же самых сенях выгорновского нашего дома, что так памятна мне — она же мерещилась и ему перед самою смертью. Иван Денисович чувствовал, что возвращается — только остаток еще тлеющей жизни мешал ему взять, наконец, ту холодную кружку, припасть к ней, и утолить застарелую жажду...

По сути, вся наша жизнь — возвращение. Мы должны, пройдя через жизненный сумрак, вернуться туда, откуда мы родом. Мир нам дан, как задача, но он не есть наша цель. В душе своей каждый хочет вернуться в первоначальную точку, в тот миг, когда еще не свершилось грехопаденье. Я верю: отбыв мировую повинность, солдатскую тяготу жизни, пройдя эмпирический сумрачный лес — мы, как блудные дети, вернемся.

И, быть может, мне снова дарована будет та самая, детская кружка воды?

Напившись, поставив ее на фанерку, я выйду опять на крыльцо, на сухой яркий свет, и увижу дорогу: ту самую, пыльную, в две колеи, по которой ушел я когда-то. Ну, что ж: походил-походил — и вернулся...

Не спеша я пройду по меже на низы огородов, повторяя тот путь, по которому некогда шел пятилетний, испуганно-радостный мальчик. Метелки травы защекочут колени; фонари оранжевых тыкв загорятся меж гряд; и повсюду, искрясь, заблестят паутинные нити. Этими Божьими швами сейчас воедино удержан и собран весь мир: отныне, ты знаешь, вовеки пребудет его полнота, его неподвластная смерти и времени жизнь...

Потом подбегу к срубам Нинкиного колодца. И опять, как когда-то, перевесившись внутрь обомшелого влажного сруба, увижу, на фоне бездонного неба — лицо удивленного мальчика...